

**РОМАН
ГАЗЕТА
НОВОСТИ** НЕДЕЛИ

Давид Маркиш
Конец света

Давид МАРКИШ

КОНЕЦ СВЕТА

Рассказы

Первое время

Никто Глеба Полоцка, инженера по водоснабжению и канализации, вставшей из России не толкал – он сам снялся с места и уехал на историческую родину по зову сердца. А то, что зову сердца подпевал голос рассудка, так это понятно: на дворе стояли дикие 90-е годы, тут надо было, если хочешь выжить и уцелеть, ворочать своим помидором и прикидывать, что к чему и почему.

Русские люди, включая евреев, яростно добивались свободы; многие из них готовы были за это и пасть порвать. Глеб Полоцк тоже был за свободу. Коммуняки, беспрепятственно командовавшие всем, вызывали в нем устойчивое чувство страха с отвращением пополам; такое переживает человек, приближаясь к крокодилу.

Когда б эти крокодилы обитали только в Москве, а в Тамбове, предположим, или в Курске и духу их не было, Глеб, не мешкая, перебрался бы в тот же Курск. Но и там, в пыльных садах и палисадниках, отнюдь не соловьи чирикали, а шла оголтелая уличная борьба, в которой, в отличие от столицы, крокодилий хор был куда громче и мерзее, чем сольные выступления свободолюбцев. Да и Тамбов с его волками мало чем отличался от Курска, разве что в худшую сторону.

А жили ведь на свете свободные люди, пили чай с вареньем и ни в чем себе не отказывали! И происходило это не за тридевять земель, а почти рукой подать: в Тель-Авиве.

Ясно, что Глеб Полоцк израильский вариант из поля зрения не выпускал; и не он один. А его жена, по имени Люба, глядела в другую сторону. В Тель-Авиве ни чай с вареньем ее не привлекал, ни еврейская свобода. Восторженная эта Люба Мещерякова выступала на митингах, и за русскую свободу, если понадобится, готова была броситься под танк. Честь ей и хвала: русский человек, к тому же в дальнем родстве с князьями Мещерскими, она целиком была предана своему народу, семьдесят лет страдавшему от бесовского гнета. Ее искреннюю ненависть к Бронштейну, Розенфельду и Янкелю Свердлову можно понять: только этих чужеродцев и не хватало в кровавом бардаке русской смуты! Я их тоже не люблю, хотя к князьям Мещерским, как нетрудно догадаться, не имею ни малейшего отношения...

К мужу своему Люба испытывала устойчивую привязанность, как лошадка к конюшне. Дом, это семейное гнездо, оклеенное добытыми с боем рижскими обоями, с гарнитуром «Хельга» и облицованным дефицитным чешским кафелем отхожим местом, не был для нее пустым звуком. Укреплением он для нее был, крепостицей на третьем этаже замыганной пятиэтажки в Мневниках – вот чем. И нежданно-незванно сюда могла нагрянуть только лишь Софья Власьева, которую никто никуда не приглашал, а она вламывалась без спросу куда хотела. Впрочем, у Полоцких ей лучше было не появляться ради собственного душевного спокойствия и для благополучия хозяев: на стене комнаты, прямо против входной двери, висел большой глянцевый плакат, на котором, как на подбор, были изображены английские лорды во всей своей красе, заседающие на красных кожаных диванах, в высоком зале великобританского парламента Вестминстер. Тут было отчего опасливо задержаться дыханию: посреди Москвы, недалеко от Кремля и Лубянки, английский парламент с лордами! Это ж надо!

Итак, в заключительные годы советской власти Люба вела себя отчаянно и бросала вызов. Ее беспокойная душа тянула ее и тащила в патристическом направлении. Сказочный русский быт и уклад пленили воображение Любы Мещеряковой; возможно, тут сыграли свою роль княжеские корни. Она бы с подъемом влилась в мускулистое движение «Россия для русских» – когда б не Глеб. Но в Глебе Полоцке от патристической России было разве что имя, а больше ничего.

В 60-е годы прошлого века налетело такое поветрие на московских евреев, стали они нарекать своих младенцев – новорожденных маль-

чиков – несколькими необычными для нашей нации именами: Ермолай, Пахом, Глеб, Игнат. Встречались и Иваны, но редко. Родители Глеба, смиренные евреи технического профиля, нарекли своего первенца таким интересным именем не без задней мысли: Глебу, надеялись они, да еще с такой нетипичной еврейской фамилией, легче будет пробиться в диковинной советской жизни, чем какому-нибудь Арону или даже нейтральному Саше-Мише. Глеб Полоцк. Ни с какой стороны не подкопашься... Советская жизнь рухнула в одночасье, а Глеб остался Глебом.

Прилежно трудившийся в ЖЭКе Глеб Полоцк держался в стороне от людных политических собраний, хотя высказаться в узком кругу о преимуществах свободы перед несвободой был не прочь; страну лихорадило и трясло, от этой тряски у всех разлепились уста. Но пробиваться вперед, в первые ряды борцов за правое дело, у него не возникало желания: родовая память препятствовала – в 17-м году уже потрудились наши соплеменники выше крыши, да и страшновато было выходить на площадь – башку могли прошибить по запарке.

А Люба самоотверженно митинговала, мелькала по всей Москве, и Глеб ей в этом не препятствовал – бесполезно было. Впрочем, семейные отношения это никак не омрачало, шумная политика отступала перед душистой тишиной брака, а в холодильнике «ЗИЛ» всегда можно было обнаружить винегрет в трехлитровой кастрюле, дальше которого кулинарные способности Любани не распространялись. Но и это не мешало брачному союзу: не в котлетах с макаронами счастье! И гороховый супец, добывавшийся Глебом путем разведения в кипятке зеленого порошка из пакета, при благоприятных условиях мог послужить украшением стола.

Так, обрастая общим семейным панцирем на пути к светлым переменах, жила бы да поживала чета Полоцк, если б не один досадный случай, явившийся, как это изначально повелось, пересечением двух закономерностей.

Дело заключалось в том, что Глеба Полоцка решили завербовать в стукачи. Кто так решил, понятно и без разъяснений – чекисты решили, хотя назывались они теперь по-другому: силовики. Но, как бы они ни назывались – хоть так, хоть разведчиками или контрразведчиками – сила была за ними, а вербовка в стукачи входила в их обязанности. Специалисты по вербовке пользовались уважением начальства: кто больше навербовал, получал премию. Тихий муж Любы Мещеряковой был просто светящейся находкой для силовых уловителей, пройти мимо него было никак невозможно: Глеб мог немало порассказать о протестантах, их планах и их вожаках. А что он был мямля и сам ни в чем не участвовал, так это даже лучше: со стороны видней и незаметней.

Специалисты, в количестве двух, пожаловали к Глебу в ЖЭК, помахали у него перед носом своими «корочками», выманили перепуганную жертву в близлежащую закусную и завели там, за пивом, задушевные разговоры.

Глеб Полоцк слышал про такое: еще с советских времен все эти задушевные беседы велись на один лад, как по нотам. Вербовщики представлялись без затей – Ивановичами; правый, мол, Петр, а левый Федор. Глеб им не поверил, но спорить не стал. Чего с ними спорить! Такой спор боком выйдет, и себе только хуже сделаешь...

– Сейчас, как вы сами понимаете, – без обиняков приступил первый Иванович, – мы переживаем критический момент.

– Нашей истории момент, – поддержал второй Иванович. – И мы все должны работать рука об руку.

– В смысле, помогать друг другу, – углубил мысль коллеги первый Иванович. – Для общего, конечно, нашего дела... Вы понимаете?

Глебу не оставалось ничего, кроме как кивать в знак согласия: ну да, понимаю.

– Ваша супруга, – продолжал развивать наступление второй Иванович, – связана с антигосударственными политическими группами и их вожаками...

– Тесно! – безжалостно уточнил первый Иванович. – Тесно связана! Услышав это, Глеб сгорбил над своим пивом. Доигралась, кажется, Любана! Беда!

– К ней мы как раз претензий никаких не имеем, – процедил второй Иванович. – Но ее приятели вызывают у нас серьезные опасения, – и, наклонившись над столешницей, он вонзил в глаза Глеба такой жуткий взгляд, от которого и у носорога душа ушла бы в пятки.

– Вот тут-то нам и нужна ваша добровольная помощь! – снова вступил со своей трелью первый Иванович. – Доверительная! Все, что вы узнаете от вашей супруги, передавайте нам. Слово в слово – а дальше мы сами разберемся! Мы идем к демократии, это же ясно – и никакие смутьяны нам не должны мешать! И в этом мы ждем от вас дружеской поддержки!

– Только не вздумайте нас убеждать в том, – грозно предостерег второй Иванович, – что вы нервный и по ночам выбалтываете все, что с вами случилось днем. По ночам вы спите сладким сном. Это нам известно, как и многое другое.

– Муж и жена – одна сатана, – то ли пошутил, то ли вполне серьезно сказал первый Иванович. – Она – вам, а вы нам. Вот и ладушки!

– Но она мне ничего не рассказывает, – вымолвил, наконец, Глеб. – А я не интересуюсь.

– А вы поинтересуйтесь! – дал указание второй Иванович. – Не интересуется он... Да это дело государственной важности! И кто тут ошибется или даст слабину, будет наказан по всей строгости закона.

«А если я откажусь?» – хотел спросить Глеб Полоцк, но не спросил. Он боялся этих костоломов, что одного, что другого, до одури и содрогания души. Такие посады, а то и голову проломают кирпичом в подворотне. Раньше ему приходилось сталкиваться с чекистами только на страницах запрещенных книг, которые приносила домой Люба. Потом книги разрешили, но чекисты вроде попрятались и не высывались. И вот они появились из своей тины и оказались куда страшней, чем казалось.

– От меня проку все равно никакого, – робко заметил Глеб. – Вы же, наверно, проверали, сами знаете...

– Не судите себя слишком строго, – назидательно сказал первый Иванович. – Самокритика, знаете ли, тоже хороша в меру.

– Для нас каждый сознательный гражданин, в том числе и вы, представляет ценность, – подвел черту второй Иванович. – Государственную ценность.

«Значит, я государственная ценность, – тоскливо подумал Глеб. – Попробуй тут откажись... Надо соглашаться, а потом их обмануть как-нибудь. Все равно плохо».

– Вот тут подпишите о неразглашении, – первый Иванович протянул Глебу лист бумаги с несколькими строчками мелко набранного текста. – И еще вот тут, внизу.

– Поздравляю! – сказал второй Иванович и сгреб подписанный документ.

Так Глеб Полоцк сел на крючок.

Обмануть ловцов и соскочить с крючка было бы скорее трудно, чем легко, а то и вовсе невозможно – если б жертва билась и боролась. Но Глеба, после успешной вербовки, Ивановичи вызывали в ту же самую пивную еще два раза, выслушали, требовательно перебивая наводящими вопросами, бородастые новости про слет коммуно-анархистов в Малаховке и семейное положение атаманы дружины «Лель», а потом словно в воду канули. Это и понятно: на Лубянке наступила межсезонная распутица, никто не знал, что день грядущий им готовит. После «жеста доброй воли» – безвозмездной выдачи американцам расположения прослушивающих устройств в здании строящегося звездно-полосатого посольства – офицеры-синепогонники окончательно утратили веру в разумное, доброе, вечное и ринулись в частные охранные предприятия и доходную торговлю чем попало. И стало тут не до Глеба Полоцка. Временно стало не до него.

А Глеб-то вообразил, что – постоянно! Что он забыт, заброшен, вышвырнут на помойку «добровольных помощников» за полной ненадобностью. Ну, что ж, заблуждаться никому не заказано... Так прошел год, а может, и два: чем дальше, тем медленней ташилось время, потому что так устроена наша жизнь. На Лубянке ход времени тоже фиксировали – надо думать, секретным каким-то способом, скрытым от уличных граждан. Так или иначе, пришла в чью-то плешивую голову идея произвести полную инвентаризацию имущества государственной безопасности, которая, уверенно подавая пример другим организациям, уже начала подниматься с колен. Дошла очередь и до поголовного списка добровольных помощников; в том километровом реестре Глеб Полоцк числился под секретным порядковым номером. Для кого секретным, а для кого и нет.

На этот раз Глеба вызвали не в пивную, а в кафе «Ромашка», тоже по соседству, по другую сторону улицы. Вместо двух знакомых Ивановичей на место встречи явился один Степанович, в черном кожаном регане, совсем уже мордovorot.

– Мы вас ценим, – неизвестно почему заявил этот Степанович. – Начиная с сегодняшнего дня вы будете составлять еженедельные отчеты о встречах вашей супруги с интересующими нас лицами. Пока ясно?

– Вполне, – без подъема подтвердил Глеб.

– Как? – наливаясь нехорошей кровью, привстал со стула Степанович. Глебу показалось, что сейчас он двинет его кулаком в лицо.

– Все ясно, – сдал назад Глеб Полоцк. Ему хотелось как можно скорее распрощаться со Степановичем и выйти на волю из кафе «Ромашка».

«Бог, – неожиданно для самого себя попросил Глеб, – сделай так, чтобы мне не надо было составлять никакие отчеты».

– Вражеские разведки, – понизив голос, продолжал Степанович, – действуют против нас через таких морально неустойчивых лиц, как приятели вашей супруги. Так что вы теперь выдвигаетесь на передний край борьбы!

Услышав о своем новом месте, Глеб Полоцк совсем потерял присутствие духа. И ведь никому ни о чем не расскажешь: все в себе, как в паровом котле! Нужно было, чувствовал Глеб, чему-то такому случиться необыкновенному, чтобы открыть клапан и выпустить пар. И освободиться от этого кошмара... Выйдя из кафе, он не пошел в ЖЭК. Сеял дождик, но Глеб этого даже не замечал, как будто водяная пыль облетала его стороной. Он остановил «левака», назвал ему свой адрес и, вольно откинувшись на сиденье, перевел дыхание. Глеб знал, что ему теперь предстоит делать, и от этого ему было страшно, но и светло. Ему вдруг открылось, что, принимая решение, он словно бы сбрасывает груз с плеч. Ну, с одного плеча...

Никаких еженедельных отчетов он не будет составлять, и воевать со шпионами на переднем крае тоже не станет. Никогда больше не увидит он ни мордovorotного Степановича, ни костоломных Ивановичей. Так он решил, это было первое в его жизни важное решение.

Оно далось бы ему легче, если б он знал, что встреча с Ивановичами отпала как бы сама собой. Правый Иванович получил пулю в лоб в ночной разборке с охранниками уголовного авторитета Колюни, а левый Иванович угордил в лапы тайской полиции с килограммовым пакетом кокаина и теперь ждал пулеметного расстрела в тюрьме курортного города Пхукет.

Глеб Полоцк ничего этого не знал, и, подъезжая к дому, раздумывал над тем, как, не вдаваясь в подробности, рассказать Любе о нависшей над нею грозе и поделиться своим решением. Бедная Люба! Но не станешь же ей рассказывать о том, как он, любимый муж, стучал на нее саму и на ее приятелей: она ведь, скорей всего, не поймет.

Едва отперев дверь, он объявил:

– Любана! Мы уезжаем в Израиль!

– Почему это? – ошеломила Люба.

Глеб Полоцк решил перенести удар на себя:

– Мне угрожает опасность. Страшная опасность. Смертельная.

– Заболел? – вскинулась Люба. – Онкология? Господи...

– Нет, – сказал Глеб. – Не это... Меня преследуют. Мне тут жить не дадут.

– Ну, главное, что не рак! – перекрестилась Люба. – За всех честных людей теперь взялись, травят. Не падай духом! Это наша судьба!

Глеб Полоцк досадливо пропустил эти слова мимо ушей: он не желал делить судьбу с борцами за русскую свободу и сидеть с ними на рах. Все имеет свои пределы, знаете ли...

– Давай улетим завтра, – продолжал настаивать Глеб, – пока никто не спохватился. Напрямик не получится, поедем через Прагу. Доберемся как-нибудь. Главное, отсюда выбраться.

– Так, – сказала на это Люба. – Так... Ты хочешь – езжай, а я никуда не поеду. Даже не может быть и речи. Это бегство, предательство. Я моих товарищей не предаю. Вот так.

«Посадят Любку, – с тоской подумал Глеб Полоцк. – Вместе со всеми этими охламонами». Он придерживался невысокого мнения об анархистах и ратниках товарищества «Лель», но мнение свое держал при себе и Любе никогда его не высказывал.

Расставанье вышло мучительным. Люба плакала, Глеб отводил глаза. Каждый из них хотел верить, что это не навсегда, что они еще вернутся друг к другу.

Израиль понравился Глебу – тепло, повсюду красивая зелень, все цветет, и море как на курорте. А водоснабжение и канализация повсеместно дело необходимое, и Глеб Полоцк через год после приезда уже работал по специальности – не инженером, правда, а техником. Но амбиции его не клевали, а зарплатных денег одному на жизнь хватало с лихвой. И с жильем ему повезло очень: он, как одиночка с высшим образованием, получил по социальной линии двухкомнатную квартиру в доме для новых репатриантов. Ему хватило бы и однокомнатной, но однокомнатные в Израиле почему-то не строят... Одним словом, посчастливилось человеку, дай ему Бог здоровья.

Политика не интересовала Глеба – ни та, русская, ни эта, еврейская. Политикой интересуются те, кто решили бороться с властью изо всех сил, или те, кто властью недовольны, но вступить с нею в открытую схватку не решаются либо из страха, либо по лености души и индифферентному складу характера.

Время налаженно текло, годы отмеренно сменяли друг друга – один хуже, другой лучше – но, в целом, все шло замечательно. Арабы стреляли в евреев, евреи стреляли в арабов, бомбы и ракеты рвались на Севере и на Юге, но все это не могло смутить и напугать Глеба Полоцка: русский Кавказ ни в чем не уступал израильскому югу с севером. Глеб был уверен в еврейской армии и, хотя исход израильско-арабского противостояния вырисовывался пред ним не вполне отчетливо, в одном он не сомневался: победа будет за нами!

Так и жил Глеб в своей квартирке, рукой подать от моря – счастливо и безмятежно. Прошлое, оставшееся в России, год от года беспокоило его все меньше и меньше: кое-что забывалось напрочь, а другое, послушное эластичной фантазии, словно бы затягивалось патиной и обретало новые черты, имевшие немного общего с минувшим. В этом подрисованном, подкрашенном прошлом Люба-Любаня виделась Глебу Полоцку образцом красоты и безупречной добродетели, искусной стряпухой и заботливой женой. Но самые разительные метаморфозы произошли с костоломными Ивановичами и мордворотом Степановичем – в безопасном Израиле их вымело из памяти милым средиземноморским ветерком, они выцвели на картине прошлого, как будто их и не было там никогда. Глеб знал, что – были, но время слизнуло их, как корова языком, и они существовали теперь словно бы в другом, соседнем измерении.

Не видя причин заглядывать в будущее из этого, уравновешенного настоящего, Глеб Полоцк все чаще оборачивался назад и, не жалея времени, вдумчиво рассматривал свое прошлое. Это занятие чем дальше, тем больше привлекало Глеба и притягивало. Совершенная возможность одной лишь силою желанья отменить случившиеся когда-то неприятные события, о которых не хотелось вспоминать и которые тревожили совесть, и заменить их на вполне приятные, приносила радость душе. От грехов, таким образом, можно было решительно избавиться раз и навсегда: не было их – и все тут!

А вот доброе и хорошее почему-то не поддавалось изменению. Много раз так и не обзаведшийся семьей Глеб пробовал подчеркнуть безоблачные отношения с Любой и забыть ее для простоты дальнейшей жизни – ничего не получалось! Когда б они скандалили и ругались, их расставанье было бы в порядке вещей – мало ли пар разводятся, не сойдясь характером. Но у них-то все было не так, все было просто замечательно, никаких ссор, никакой ругни – и вот теперь, спустя годы, вынужденное крушение семейной жизни вызывало колотье в сердце! И Люба-Любаня оставалась белой, розовой и желанной, и сырая двушка, оклеенная рижскими обоями, казалась капсулой счастья, откуда в курортное жилище Глеба прилетали, примерно в полгода раз, заботливые письма одинокой женщины, обойденной теплом жизни.

Российская страна, меж тем, успешно гнала нефть и газ на Запад и на Восток, обрастала жирком и балансировала в поисках устойчивого равновесия. Беспокойные свобододолюбцы, эти искатели черной кошки в темной комнате русской истории, играли теперь с огнем: власть спустила на них поднявшихся с колен и расплодившихся Ивановичей и Степановичей, и борцы за справедливость терпеливо ждали расправы.

Последнее письмо от Любы было полно уныния и мрачных прозрений: ей грозила скорая посадка, и спасенье от ареста крылось в немедленном отъезде из Москвы за границу, куда глаза глядят. Глеб Полоцк ответил незамедлительно, телеграммой: «Приезжай. Жду».

Ждать пришлось недолго: уже на шестой день Глеб приехал встречать Любу в аэропорт. Майя в высокоом, как готический храм, зале ожидания, он празднично и взволнованно размышлял над тем, что Люба Мещерякова придёт к нему по сей день законной женой, с которой судьба как бы по ошибке разлучила его пятнадцать лет назад.

Люди появлялись в автоматических стеклянных воротах, как будто багажная лента транспортера выносила их из глубин аэропорта. Люди шли и шли, они толкали тележки перед собой или катили чемоданы на колесиках, а Любы все не было и не было. Глеб не испытывал беспокойства, он почему-то не сомневался в том, что Люба добралась благополучно, она уже здесь, рядом и сейчас он ее увидит в зеве ворот. Московский рейс приземлился сорок минут назад, его первые пассажиры, с пластиковыми пакетами, помеченными фирменным знаком московского аэропортового магазина беспощинной торговли, уже пошли. Глеб напряг зрение, всматриваясь. Время медленно текло, оно

почти застыло, как наплыв сосновой смолы на ветке. Глеб усмехнулся: причем здесь эта смола, когда он и сосну-то не видел все эти годы и ни разу о ней не вспоминал!

В Москве весна, там, вроде бы, еще холодно. Как, интересно знать, будет одета Люба? Во что? Неужели в пальто? Глебу хотелось, чтобы не было на ней никакого пальто, а что-нибудь такое, открывающее стройность девичьей фигуры с тонкой талией над литыми бедрами.

Люба вышла в мешковатом синем пальто. За руку она вела ребенка, девочку лет шести.

Пока она, близоруко щурясь, шла по мраморному полу в крупную черно-белую клетку, Глеб разглядел ее. То была другая Люба – постаревшая девочка, сорокалетняя женщина с нездоровым одутловатым лицом. Глядя на нее, как она приближалась, Глеб Полоцк ощутил удар паники и выкатил глаза, словно бы из-под его ног вышибли табуретку и он повис на суку, в веревочной петле.

– Это дочка, – подойдя и не выпуская руки ребенка, объяснила другая Люба.

«Вижу, что не сын», – хотел сказать Глеб, но язык его не послушался. Чего тут говорить, когда и так все понятно? Так понятно, что понятней и не бывает...

– Я ж не знала, что приеду, – виновато продолжала Люба. – А дальше оставшаяся одной было просто мучение, и сроки поджимали: у нас ведь разница всего десять лет... – Она искательно улыбнулась, как будто пятидесятилетний ассенизатор Глеб Полоцк был причастен к рождению Любиной дочки.

– Да, – выдавил Глеб, глядя на эту новую Любу. Становилось ясно, что теперь, прилетев сюда, она уже не чувствовала себя мучительно одинокой, и он, Глеб, был тому порукой.

Сидя за рулем знававшего лучшие времена фиатика, Глеб выехал на автостраду Аялон, ведущую в Тель-Авив. Девочка, ее звали Варя, Варвара, устроилась на заднем сиденье и сидела смирно, а Люба подробно, со знанием дела рассказывала о том, что в России все уже окончательно пошло вразнос. От свободы 90-х осталось одно воспоминанье, власть лютует, людей хватают ни за что, эфэсбэшники как с цепи сорвались и в открытую грозят недовольным посадкой и тюрьмой. Вот и ее, Любу, задержали на пикете в защиту политзаключенных, выкрутили руки, привезли в участок и пообещали в следующий раз припаять реальный срок, а дочку отдать в детдом.

Услышав об эфэсбэшниках, Глеб нахохлился над рулем. Околевшие в подсахаренном прошлом и исчезнувшие без следа, Ивановичи и Степанович теперь словно бы воскресли из мертвых и явились вживе, они хрипло дышали и потирали руки, и весь макет минувшего, с которого вдруг словно бы недобрый гнилым ветром смело камуфляжную сетку, предстал голым и страшным. Страх нагоняло то, что все вдруг изменилось: единственное бесспорное достояние Глеба Полоцка – его прошлое – перестало ему подчиняться. Не вслушиваясь более в горестный рассказ Любы, не закрывавшей рта, он пытался как прежде, как сегодня еще утром передвигать на своем макете фигуры и манипулировать событиями – ничего не получалось. Хуже того, он разглядел там совсем уже огорчительное и ненужное, выворщенное из памяти, казалось бы, навсегда: Алю.

Аля. То была старая история, она случилась еще до Любы, в давние времена. Глеб тогда учился в московском институте водоснабжения и канализации и жил в общежитии на стипендию и продуктовые посылки, которые ему раз в месяц присылала мама из города Трускавец. Отец уже ушел от матери, уехал куда-то на Камчатку, на край света, завел там другую семью и исчез из виду. Глеб учился хорошо и старательно, нареканий на факультете не вызывал: зачеты сдавал в срок, выпивал только по праздникам, и то в меру.

Убей Бог, если Глеб мог восстановить, при каких обстоятельствах и где он повстречал Алю: то ли в студенческом клубе, то ли еще где. Ему было двадцать, ей – не больше восемнадцати. Она училась на первом курсе какого-то института, какого – Глеб понятия не имел, а может об этом и речь не заходила. Зато он не забыл, что Аля увлекалась танцами народов мира и ходила на кружок художественной самодеятельности; она, наверно, была артистическая натура. Кроме того, Глеб запомнил, что Аля немного пришепывала. И это все, что он о ней знал.

Но вот как вышло, и вышло боком: Аля влюбилась в Глеба с первого взгляда. Расскажи ему кто-нибудь о таком случае – он бы никогда не поверил. Как, почему? Это же не кино и не поэма. Но вот ведь случилось, и в первый же вечер знакомства Аля пригласила Глеба к себе на Речной вокзал, где она занимала отдельную комнатку в каком-то бараке, на птичьих правах.

Уже в постели Аля призналась Глебу, что она девственница. Это признание удивило его, и удивило приятно – как будто нетронутость Али, ее девичество было премией, вдруг свалившейся на Глеба за какие-то особые заслуги, о которых он и сам не подозревал.

Так или иначе, но судьба влюбленной Али сложилась неблагоприятно. Не прошло и месяца, как Глеб Полоцк потерял к ней всякий интерес: запал пропал, словно его никогда и не было, к тому же ездить на Речной вокзал выходило очень далеко, не говоря уже о пришепетывании. Пути студентов разошлись протоптанным маршрутом, а спустя положенный срок Аля родила мальчика, предьявлять которого отцу даже и не собиралась: гордость и хрустальные воспоминания о первой любви не позволяли.

Печальная история на этом не закончилась. Младенец заболел коклюшем в острой форме, знакомый врач рекомендовал Але подняться с сыном на самолете – физические обстоятельства полета окажут на ребенка благотворное воздействие. Денег на билет, даже самый дешевый, не было, занять было не у кого, и Аля кинулась к Глебу. Надо сказать, Глеб тут не подкачал: продал свою зимнюю куртку-реглан – до морозов было еще далеко, вечером явился с деньгами на Речной вокзал, а там молодость взяла верх над всем на свете: обиды были помянуты и забыты, алмазная ночь прошла без отдыха и сна. Наутро Глеб притворил за собой дверь Алиного барака – на этот раз уже навсегда.

От этой истории, из которой следовало, что Глеб Полоцк – негодяй, если не подлец, надо было освободиться как можно скорей, чтоб она не тревожила душу и не мешала жить дальше. Но сделать это было не так-то просто: Глеб знал и помнил, что за ним числится грех и, если верить молве, за этот грех придется когда-нибудь ответить.

Время брало свое, нехорошие воспоминания хоть и тускнели, но не выветривались, иногда больно царапали память острыми режущими гранями. До тридцати пяти лет Глеб не женился, хотя, как нетрудно догадаться, и не монашествовал, а когда, наконец, расписался со своей Любой-Любаней, за два года, прожитых в мире и согласии, детей они так и не сумели родить. Эту досаду и напсаду, вопреки здравому смыслу, Глеб связывал с Алей и их сыночком, имени которого он так и не узнал. И так, втайне от всех, продолжалось до самого его бегства из Москвы на историческую родину. Там, на солнечной свободе, среди евреев, кактусов и бананов, он сумел вырвать эту русскую страницу из своего прошлого.

Но вот приземлилась Люба с дочкой Варварой, и все что Глеб оставил в России, а потом пятнадцать лет подряд старательно подправлял, сглаживал и подчищал – весь этот труд пошел насмарку, все вернулось к первоначальному допотопному состоянию. Для полноты картины Глебу Полоцку не хватало только развернуться и уехать обратно в Москву, в Мневники, в обклеенную рижскими обоями сырую двушку, которая вдруг перестала ему казаться сухой и уютной.

– Помнишь Малыгина Андрея? – спросила Люба, когда, занеся чемоданы к Глебу, они сели за стол, заботливо и не без задней мысли приготовленный им на двоих. – Ну, монархиста? Ему дали три года, я его жену... детьми пустила жить в нашу квартиру.

Монархиста Глеб не помнил, а новость о жильцах его не порадовала: если б Люба квартиру сдала, были бы хоть какие-то деньги на жизнь здесь и, главное, на съем жилья. Понуру слушая рассказ о злоключениях полузабытых или вовсе незнакомых ему людей, Глеб Полоцк исподволь разглядывал московскую гостью – некрасивую, чужую и нежеланную. Одна мысль его преследовала и не отпускала: приближался вечер, за ним ночь, и надо будет ложиться спать. Кровать у Глеба была одна, в задней комнате, и это до сегодняшнего дня совершенно его устраивало. Теперь там спала безмятежным сном притомившаяся за долгую дорогу Варвара, а Глеб Полоцк в ожидании дальнейших событий коротал время в пустых разговорах с Любой, в первой комнате. В этой комнате, на коротком диванчике против телевизора, легко разместился бы щуплый подросток или та же шестилетняя Варвара, и этот вариант, на первый взгляд, мог бы послужить идеальным решением проблемы: ребенок здесь, а взрослые там, в спальне.

Но именно такого, казалось бы, естественного хода событий Глеб Полоцк опасался более всего. Очутиться с Любой в одной кровати – эта кошмарная перспектива, маячившая недалеко, нагоняла на него ледяную панику: он ждал и желал другую, а приехала эта. И ничего общего между ними, что могло бы раздуть дивный огонек прошлого, он не мог обнаружить, сколько ни искал. Глядя сквозь разговорчивую Любу, он видел непрукрашенную картину давних событий – от туманного начала начал и вплоть до самого отъезда, положившего конец той жизни и разломившего Время на две части. Первое время осталось по ту

сторону отъезда, как по ту сторону реки. Мосты через ту реку Глеб не сжег, не взорвал, и вот теперь, во второе время, тогдашняя нежная нереальность обрушилась страшной ошибкой: прошлое по-хозяйски вернулось к нему без поправок и без прикрас.

За окном стемнело. Глеб допил вино, потом достал из шкафа початую бутылку «Голды» и налил себе полстакана. Люба заварила кофе в кухне, и Глеб послушно запил им свою водку.

Тем временем Люба перенесла спящую Варвару на диванчик, а потом деловито разобрала в спальне постель и взбила подушки.

– Пойдем, – сказала Люба. – Поздно уже.

Полночь стояла на дворе и в небе. Глеб Полоцк спал, ему снилась Аля.

Яхта

На бульваре Трахтенберга было людно. Пешеходы шли парами, группами и поодиночке, сидячие инвалиды ехали на колесе. Иные толкали перед собою конструкцию, похожую на передвижной флагшток с подвешенным к нему мешком капельницы. Встречались влюбленные, державшиеся за руки. Велосипедист лавировал. Ребенок бежал на роликовых коньках. Был час пик.

Бульвар пересекал здание больницы «Тель-Меир» по всей его циклопической ширине. То был, строго говоря, коридор, по одной стороне которого располагались лечебные отделения, а по другой – операционные, лаборатории, исследовательские центры, хозяйственные службы, кафе и магазины: цветочные, подарочные, книжные и кондитерские. Можно было, конечно, назвать этот крытый проход и бульваром, взбрело же такое кому-то в голову. Но кто таков Трахтенберг и чем он прославился, оставалось не проясненным: на эмалированных табличках, белым по синему, значилось: «Бульвар Трахтенберга». И это все.

Более чем вероятно, что неведомый широкой публике Трахтенберг дал деньги на строительство коридора. Такие случаи не единичны: в больнице «Тель-Меир» целые отделения построены на пожертвования, не говоря уже о больничных сквериках или диковинных статуях, украшающих лужайки и полянки. Евреи склонны жертвовать на больничные нужды. Да не оскудеет рука дающего, что тут говорить.

Посередине, примерно, бульвара, по правой руке располагалось кафе «Робеспьер». На вывеске был художественно изображен кровожадный француз на фоне гильотины. Его лицо имело сердитое выражение. Широким жестом Неподкупный указывал на вход в заведение и приглашал всех желающих заходить не мешкая.

За круглыми столиками попивали кофе и дымили табаком ходячие больные и их гости.

Стояла тут и скульптура, в углу, для возбуждения эстетического чувства, если у кого задремало. Автор – Джерри Друкер из Чикаго, штат Иллинойс, – приплатил, как видно, немало, чтоб ее здесь водворили, в больнице, на краю гибели. Скульптура была изготовлена из продырявленных стальных листов, методом клепки – плоская, с ответвляющимися членами. То было изображение существа злого и опасного. В верхней части, произвольно, торчал острый прямой клюв. Такая цаца вполне могла появиться на Божий свет в результате романтической связи Кошечья Бессмертного с Бабой Ягой.

Зато настрой религиозной части больных никак не был задет: скульптура не имела ничего общего с грешным фигуративным миром. Поставь сюда хозяин «Робеспьера» беззубую Венеру Милосскую или микеланджеловского Давида – не простоят им тут и часа: равнины, в три смены надзирающие в больнице за неукомпетентным соблюдением традиций, устроили бы скандал. И действительно, Давид с его необрезанной пипкой – чем не кумир, который создавать нельзя? Чем он лучше Золотого тельца в синайских песках? Да ничем.

Леня Шор-Табачник из четвертого отделения сидел против скульптуры, глядя на нее без всякого выражения. Человек не собака, человек ко всему привыкает, – а Леня сидел здесь над своим кофе вот уже полтора месяца, изо дня в день, и светила ему дорога из «Тель-Меира» в закрытое лечебное заведение «Мигдал-Нахум», расположенное в лесных зарослях Верхней Галилеи, в местах миндальных. Эта перспектива не радовала Леню, но и не огорчала: ему было все равно, где проводить время жизни. В четвертом психиатрическом отделении он слыл тихим, так что и в миндальных лесах его едва ли переведут в буйные. Глядя сквозь железную штуковину чикагского ваятеля, Леня отчетливо различал песчаный берег сапфирового моря и белую яхту на бревен-

чатых стапелях. А другие видения – ведьмы, демоны – его никогда не посещали.

С Яхтой Леня встретился у американского писателя Хемингуэя, там, где у него девушка Брет похожа на гоночную яхту, – встретился и полюбил. Полюбил так, как у другого великого писателя, Платонова, новый рыцарь Копенкин любит отменной любовью пламенную революционерку Розу Люксембург, давно, правда, уже ушедшую от нас. И вот Яхта сделалась мечтой Лени Шор-Табачника, он хотел овладеть ею или хотя бы прикоснуться к ней.

Дальше в воду, глубже дно. Мечта захватила Леню, как говорится, с ушами, вела его за руку. Московский парень прикипел душой к морю, никогда им невиданному, но служившему естественной средой обитания его Яхты. «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в краю далеком...» Эти строки пронзили его стрелой, обмазанной душистым медом, и Михаил Лермонтов в небрежно свисающем с правого плеча ментике сильным рывком опередил Александра Пушкина с его Татьяной, которую прежде хотелось догнать в темном вечернем коридоре, схватить за открытые плечи, крепко к себе привалить и поцеловать. Косой белый парус, ускользящий, влек Леню за собою невесть куда, в дремучие глубины. Он и учиться-то пошел на судостроительный из-за этого паруса, из-за этой желанной Яхты, прекрасной, как Брет.

Решение ехать в Израиль на ПМЖ пришло к Лене Шор-Табачнику на исходе 80-х, вскоре после окончания института. Надо сказать честно, что сионистская идея не играла тут никакой роли: Леня не рвался во еврейские с арабами и не планировал собирать в лесу апельсины с финиками. Дело было в том, что в России, охваченной пламенем перемен, Яхту можно было расчудесно нарисовать разве что на бумажке, а потом приклеить эту бумажку себе на лоб. В краю же далеком, на берегу Средиземного моря, всяко могло случиться – вплоть до чуда.

К тому времени Леня уже был женат на учительнице английского языка, русской национальности, по имени Вера. Посещение ЗАГСа случилось не само по себе, а в результате оплошности: проморгала Вера, ее интимная пружинка дала осечку или вообще выскочила куда-то, и вот вам результат – интересное положение, и растет ребенок там не по дням, а по часам. Леня принял новость без надрыва и пошел регистрироваться. В конце концов, раз в жизни бывает только смерть, а все остальное множеством.

Жили они в однокомнатной квартирке на окраине города, в новом районе. Жили хорошо: он трудился в конструкторском бюро траулера флота, она учила детей языку Вильяма Шекспира и Кима Филби. Денег на житье-бытье хватало – Леня дурных привычек чурался: пить не пил, в карты не играл, курил больше для понта, за посторонними девушками не ухаживал, – своих хватало с головой. Свои – это Верка и дочка, которой, в результате томительных раздумий, дали редкое для евреев имя Роксана. Леня нажимал и настаивал, чтоб новорожденную назвали просто и в то же время со значением – Яхта. Но Верка плакала и кричала, и грозила объявить голодовку, и измотанный супруг уступил: Роксана так Роксана. Уступил – но ссадина на душе осталась, и он мерил расхриставшуюся женщину острым грифельным взглядом, как будто расчерчивал ее на бревна, бимсы и шпангоуты. Ощущая кожей режущий взгляд, Верка задавалась запоздалым вопросом: а все ли дома у ее Лени? А не стоило ли сделать аборт?

Но природа брала свое, молодые годы – зеленые, – и вот следом за дочкой появился сын Витя. Одному ребенку скучно в доме, об этом никто не станет спорить, да и непедagogично это, да и Папа Римский тоже ведь не дурак, а как стоит против абортов. А что насчет того, все ли дома у Леника или только некоторые, так тут многое зависит от привычки: да, он немного странный с этой своей лодкой, зато другие спичечные коробки собирают или вообще алкоголики. И когда Витя родился, Леня не стал спорить насчет имени, а сразу согласился: «Ладно, пускай будет Виктор. «Виктория» – победа. Морская победа». А мог ведь и упереться – давай назовем Бриг или там Фрегат.

Время шло ни шатко ни валко, жизнь обрастала ракушками и тянула на дно. Ветер горбачевской свободы хоть и дул над Москвой, но дул мимо: не было паруса, который бы его уловил, конструирование траулеров сходило на нет, и денег противно не хватало даже на самое насущное. Леня Шор-Табачник затосковал. Яхта существовала на расстоянии, но дотянуться до нее было совершенно невозможно; лишь по ночам она приближалась в темноте, с ласковым плеском, терлась бортом о его плечо, и тогда он стонал и метался во сне. В России, сорвавшейся с цепи и уходящей из-под ног, как палуба в бурю, перспектива привязать к себе красивую и избалованную Яхту была равна нулю. Этот ноль пред-

ставлялся Лене крушением жизни, хуже, чем крушением – небытием. Следовало уходить от девятого вала, это было ясно.

Понятно это было и Вере – она надеялась на то, что с изменением жизненной обстановки Леня возьмется за ум и выкинет из головы свою затею с лодкой, а дети на новом месте перестанут пускать соплю, капризничать и реветь. Новое место обозначилось как бы само собою: Израиль. Там детское питание, там климат средиземноморский, там все. На всякий случай Вера заикнулась было о Германии, но Леня даже слушать не захотел – в его сердце пробудились дремучие чувства к исторической родине, к двенадцати сыновьям старика Якова, один из которых, кстати сказать, не козлов с баранами гонял по холмам, не из лука стрелял в пролетающую утку, а пошел по мореходной части. Немцы тоже иногда отчаливали от своих берегов, но то совсем чужие люди, с какой бы им стати вникать в душевные устремления Лени Шор-Табачника.

Документы на выезд были поданы, начался обратный отсчет перед стартом. Немногочисленные друзья-приятели решению Шор-Табачников ничуть не удивились; удивляться можно было лишь тому, что Вера с Леной до сих пор еще никуда не отчалили, а ведь могли. Разрешение от властей пришло быстро и без помех, сборы тоже заняли не много времени. Да и чего там собирать? Не расхлябанную же кровать, не дощатые книжные полки отправлять тихой скоростью за тридевять земель, в тридцатое еврейское государство. Решено было везти с собою застиранную детскую одежду на смену, два десятка книг по судостроению и разную хозяйственную мелочевку в двух чемоданах да клетчатом клеенчатом бауле, с какими российские челноки снуют туда-сюда по белу свету.

Момент прибытия сынов Израиля с чадами и домочадцами, со скарбом, собаками и кошками на древнюю родину описан многократно; я и сам об этом писал. В толпе иммигрантов, спускавшихся с трапа самолета в тель-авивском аэропорту, семья Шор-Табачников ничем не отличалась от других: все были взволнованы, никто не помышлял о плохом. Время целования родной земли ушло в прошлое, в 70-е годы, и нынче такие глупости никому и в голову не приходили. Да и как тут поцелуешь, если кругом один асфальт, мрамор и железобетон. Даже смешно и неловко как-то: могут подумать, что человек съехал с катушек. Скромней надо себя вести после двухтысячелетней разлуки и не лезть с поцелуями.

Коты и собаки тоже приехали, хотя логичней было бы везти на историческую родину овцу – хотя бы потому, что это полезное животное упоминается в еврейских священных книгах чаще, чем другие бессловесные твари. Но времена меняются, и люди меняются вместе с временами: царь природы помещает сегодня овечку по соседству с козлом... Пока оформляли документы, Леня, Вера и их дети, вместе с другими новоприбывшими, наблюдали за парой ошалевших от перелета белых королевских пуделей – кобелем и девочкой. Мнения наблюдателей совпадали: псов привезли на развод, ради малого бизнеса. Первопроходцы-семидесятники тащили за бугор сверла и электрические лампочки на продажу – а зачем, когда породистый щенок с дипломом смело тянет на полтыщи баксов? Человеческая мысль все время скачет вперед, это несомненно.

Что же до кота, то он сидел в плетеной корзине, высунув круглую башку в дырку и глядя на еврейский мир совершенно индифферентно. Его хозяйка, крупная старуха в шляпе с полями и птицей, терпеливо дождалась очереди на оформление и с котом не общалась, как будто то был самостоятельный сосед с независимым характером.

А Леня маялся. Ему хотелось поскорей усестись перед чиновницей и заявить без предисловий: «Мне все равно, куда ехать, главное, чтоб на берег моря». Так и вышло – его отправили на Юг, в Ашкелон.

Проще всего было бы Яхту купить, – за деньги, на какой-нибудь великобританской, скажем, верфи или же со вторых рук; и выбор был незаурядный. Плати и подымай паруса в тумане моря голубом! Леня написал с дюжину телефонов и принялся названивать.

В Англию он звонил больше для порядка и из темного любопытства: цены зашкаливали с первого звука, нули уходили к горизонту. Под укороженным взглядом Верки, считавшей минуты международной беседы, Леня выспрашивал приятные подробности: сколько метров от носа до кормы, какова высота мачты и площадь парусов, из какого дерева изготовлен штурвал – из красного или же из бука. Потом дело неизбежно доходило до цены, и разговор прекращался. Покупка со вторых рук представлялась более достижимой, хотя бы уже и потому, что можно было съездить в Герцлию и в тамошней марине посмотреть, ощупать

лодку собственными руками. Но и в Герцлии цены были совершенно гулливерские, а один из частновладельцев, до которого дозволил Леся Шор-Табачник, даже позволил себе съязвить. В ответ на вопрос, сколько солярки потребляет аварийный мотор, яхтсмен процедил в трубку: «Если вы собираетесь купить у меня яхту и спрашиваете такие глупости – значит, у вас нет денег даже на автобус!» И прервал разговор, не простившись.

– Шел бы он ко всем чертям! – отреагировал Леся, и Верка с ним согласилась. – Сразу видно, что за тип! Ему бы рабынями торговать на невольничьем рынке.

Тут Верка огорченно покачала головой – сравнение показалось ей немного притянутым.

А у Лени после всех этих разговоров полегчало на душе: вариантов нет, надо строить Яхту самому. Год на это уйдет, два – пусть: сколько надо, столько и уйдет.

Ашкелонское море оказалось вполне подходящим для того, чтобы выпустить в него Яхту – сапфировое, с блесткой. Впрочем, времени на любованье красивой водой не было. Леся придирчиво обследовал песчаный берег и километрах в пяти северней города выбрал пустынную площадочку, тылом упирающуюся в дряхлую охряную скалу, всю в расселинах, а справа и слева ничем не ограниченную. Здесь следовало заложить Яхту, построить ее и спустить на воду.

Главному делу препятствовали побочные, отвлекающие проблемы. Так было, так будет; Леся к этому привык. Уйти с головой в строительство мешал быт, замешанный на безденежье. Английский, однако, язык учат даже в тропических зарослях, и Вера давала частные уроки и учила детей в арабской школе – в обычную обещали перевести через семь месяцев, на новый учебный год. С траулерами было сложнее. В Израиле траулеров не строили, линкоры тоже, и Леся зарабатывал на хлеб мытьем полов в фабричных помещениях – спонжей. Гоня грязную воду по выщербленным каменным плиткам, он видел себя с веревочной шваброй в руках, на дощатой белой палубе Яхты. Так было интересно, и время с приятным шипеньем текло за бортом фабрики.

А домашние все время чего-то хотели в этом роскошном мире. Дети хотели мороженого и конструктор «Лего», Вера хотела стиральную машину и идти к частному гинекологу. Леся Шор-Табачник молча досадовал на них, но вслух не выражался во избежание скандала. Скажи он хоть слово, как дети начинали плакать и реветь, Верка – ныть и причитать. И дело тут было вовсе не в местной жаре, отрицательно действующей на нервную систему, а в том, что Леся потратил все деньги на покупку инструментов, необходимых для строительства Яхты, на дубовые доски, медные скобы и латунные шурупы. Доски были замечательные, отборные, да и шурупы такие надо еще поискать. А деньги Леся как глава семьи получил в подарок от еврейского государства на обустройство и первые шаги по земле исторической родины. По земле – не по воде.

Долго ли, коротко ли, на прибрежной площадочке под Ашкелоном возникло нечто, напоминающее скелет лодочного корпуса. Сколько времени, расчерченного на дни, недели и месяцы прошло с той поры, как Леся расхаживал здесь, на берегу, он если и знал, то внимания своего на этом не сосредотачивал: день да ночь – сутки прочь, и концы в воду. Лицо строителя заросло красивой бородой, лоб и подглазья покрылись стойким загаром. Леся Шор-Табачника теперь можно было принять за вольного бродягу, не исключено, что и морского. Все свободное время он проводил на строительстве, туда и зеваки потянулись – поглядеть на чокнутого. Леся из своего занятия секрета не делал, каждому желающему обстоятельно объяснял свой проект, включая технические подробности. Местная русская газетка напечатало о нем статью с фотографией: вот, мол, какой у нас есть замечательный земляк, он для воплощения своей мечты готов на все, даже работу в конструкторском бюро фирмы по изготовлению фруктовых соков бросил, чтоб не мешала любимому делу. Между строк статьи лукаво посверкивала мысль, что местному ивритянину принести такую жертву ради идеи не по плечу, на это способен только настоящий русский еврей с пылающим сердцем – такой, как Шор-Табачник.

Действительно, с год назад или что-то около того Леся работал в какой-то шарашкиной конторе, проектировал соковыжималки нового поколения, но потом его оттуда уволили по сокращению штатов, по железному правилу «последним пришел – первым ушел». О том эпизоде он и думать забыл, хождение на штатную службу, по часам, было противно его существу, набравшемуся морского ветра на берегу, у Яхты. Драить по ночам полы более подходило его новой, прибрежной сущности. Драить полы или одноразово, без гарантий подметать сбегав-

шие к морю улицы города Ашкелона. Нет, не зря шутили остряки, что израильские города с приходом большой эмиграции из России стали самыми чистыми и самыми музыкальными городами в мире. Толпы неустроенных по специальности инженеров, подбирая с асфальта листья и окурки, всюю шуровали совками и вениками, а дипломированные скрипачи и трубачи развлекали публику музыкальной игрой на оживленных перекрестках. Наконец-то, не прошло и двух тысячелетий, еврейское массовое увлечение нотами обратилось в несомненное благо. Ленин коллега по получению социального пособия, кандидат наук по вечной мерзлоте, неплохо подрабатывал, переходя из кафе в кафе и распевая песни наподобие курского соловья, но только со словами. Все шло в ход: цыганские романсы, гимн Советского Союза и бриллиантовые частушки, сдобренные красивым матом. Одна только была тут неувязка: мерзловику, в отличие от большинства его соплеменников, медведь на ухо наступил, – но это обстоятельство не отвращало слушателей от исполнителя, а лишь добавляло специфики и пробуждало жалость в сердцах, соединенных тоненькой жилочкой с кошельком. После появления статьи с фотографией кандидат наук предложил Лене кооперироваться и петь хором что-нибудь морское, ну, например, «Врагу не сдастся наш гордый «Варяг», но пропиаренный Шор-Табачник заманчивое предложение отверг – не мог справиться с робостью.

Яхта, меж тем, выросла и требовала все больше денег на дальнейшее развитие. Веринных заработков едва хватало на выплату ссуды за ветхую квартиру, купленную по случаю возле Старого рынка, а остатки распозлались сами по себе, невесть куда, подобно гоголевским ракам из корзины. О полноценных обновлениях для Яхты нечего было и думать, и Леся бродил по строительным площадкам в поисках подходящих мусорных досточек и побывавших в употреблении гвоздей; к нему, с его шкиперской бородой и усами, уже привыкли в городе, считали немного съехавшим с катушек человеком. Добравшись, наконец, до своей верфи, он сваливал с плеч на землю мешок с находками, освобожденно и радостно переводил дух и привязывал к шесту флаг, которому назначено было в свой срок взвиться на мачте Яхты. Тот флаг Леся Шор-Табачник изготовил собственноручно: на синем шелковом поле, окаймленном золотой бахромой, гарцевал на фоне восходящего солнца оранжевый кентавр. Адмирал, так сказать, прибыл, все по местам.

Однажды Леся обнаружил на краю своего владения дырявую палатку-одиночку, в которой спал безмятежным сном русоголовый молодец, похожий на викинга, со следами ночного пьянства на лице.

– Ты кто такой? – растолкав молодца, спросил Леся Шор-Табачник.

– Кто-кто... – недовольно промычал разбуженный ото сна. – Ну, Иванов.

Иванов оказался брянским уроженцем, врачом-логопедом. Пятнадцать лет назад он с женой-еврейкой покинул пределы отечества и обосновался в Канаде, а теперь вот приехал в Святую землю с важной целью – дожидаться прихода Мессии и Конца света. По расчетам Иванова Мессия должен был появиться в течение пяти месяцев именно здесь, под Ашкелоном. Точное число Иванов указать не мог, но это было и не обязательно. Крайний срок – декабрь, в этом вычислитель был твердо уверен. Исходя из этого, он уволился с работы в университетской клинике Монреаля, покинул семью, сомневавшуюся в точности выкладок, и купил билет в Израиль в один конец. Дело было сделано, мяч перешел в руки Мессии. Деньги на пропитание Иванов припас строго до декабря, а гостиница здесь просто ни к чему: Израиль не Канада, тепло круглый год, можно подождать на берегу в палатке.

– А на январь, значит, нету? – уточнил Леся. – Денег?

– Зачем мне на январь, – пожал плечами Иванов, – когда в январе уже будет ни к чему.

В ответ на это разъяснение Леся Шор-Табачник только головой качал: здрасьте, какой там Конец света, какой январь! Яхту, даст Бог, удастся спустить на воду не раньше, чем через год-полтора.

Знакомство приятно затянулось. Выпили водки из припасов Иванова. Закусили канадскими бобами в томате. Время было у обоих: Леся шел мыть полы в ночь, а Иванов – тот вообще никуда не спешил. Разговор привольно тек. Лене интересно было слушать про Канаду, про страну кленового листа – о том, что людям там духовности не хватает просто катастрофически. От души посочувствовал канадцам, Леся взялся рассказывать новому знакомцу о своей Яхте, но тот пропустил подробный рассказ мимо ушей. Леся не обиделся – он понимал, что Иванов увлечен скорым появлением Мессии, и чужие проблемы от него далеки. Закончив бутылку, оба пребывали в расчудесном настроении; будущее представлялось им безоблачным. Леся предложил ком-

панейскому Иванову, удачно сочетавшему высокое с бытовым, переселиться из палатки в корпус Яхты, уже очерченный пунктирно бревнами и досками. Для этого нужно было соорудить там нечто вроде шалаша или ящика и проводить время в ожидании Конца света с большими удобствами, чем в палатке. Иванов сразу согласился.

– Ну да, – сказал Иванов. – И от воров заодно постерегу, а то мало ли что...

Вторник на среде едет, а четверг погоняет; вот это точно. Время проходило, не оставляя зарубок, мимо Яхты и Лени Шор-Табачника, дети Роксана и Вита росли на апельсинах не по дням, а по часам, а Верка ворчала и хмуро глядела: не могла радоваться душой лишь от красоты окружающей жизни. Глядя из окошка на неутрахающее шевеление Старого рынка, она сладко мечтала о том дне, когда Леня закончит свою лодку и уплывет куда глаза глядят. Она давно уже понимала себя вдовой при живом муже. Веркин жизненный сок еще не прокис, по ночам ее одолевали приятные видения: розовые и жемчужные летающие мушки выныривали из темноты и нежно на нее набрасывались, она послушно открывалась их напору и превращалась почему-то в клейкую березовую почку, переливчато светящуюся изнутри. А бедный Леня тем временем жил своей особенной отдельной жизнью: вместо того чтобы протянуть руку и отогнать летающих мужиков, он лишь за минутку прерывал свой дикий боцманский храп – и то лишь затем, чтоб прошептать имя соперницы: «Яхта!» Слыша это отвратительное имя, Верка отчетливо видела себя с ножом в руке, занесенным над разрушительницей семьи, и клинок разил не холодную деревяшку, а бесстыжую грудь разлучницы. Текла кровь, женщина с лживыми глазами русалки валялась у ног Верки... Сделав дело, Верка отодвигалась подальше от спящего Лени Шор-Табачника и освобожденно поворачивалась к летающим кавалерам... Спустя недолгое время она возвращалась к удручающим реалиям нашей жизни, и с плывущей – нет, скользкой, летящей, но только не плывущей! – усмешкой, потягиваясь, задавала себе вопрос: «А уж не сбрендил ли я окончательно?» Честный ответ на этот вопрос Верка дать не могла.

Не принося устойчивого просветленья, дни один за другим переваливались через пень-колоду. И не было никого в заросших пальмами ашкелонских песках, кто пожалел бы Веру или дал дельный совет. Не зная за собой грехов, заподозрила Вера злонамеренный взгляд, наведенную порчу – а по-другому как объяснишь сплошные неприятности жизни? Не евреев же в этом винить, евреи тут, наверно, ни при чем. А если и при чем, как кого здесь вычислить, в еврейском краю... Оставалась гадалка, специалистка по сглазу, про нее тоже писали в газете, как про Леню, – что очень опытная и хорошо разбирается в таких делах.

Гадалка терпеливо выслушала Верин рассказ, а история с Яхтой ее сильно удивила, она даже раскипятилась – как видно, не часто сталкивалась с таким раскладом. Потом долго разглядывала Ленино фото, поворачивала его так и сяк, и вынесла решение:

– Червивый человек. Тебе, женщина, надо его в сумасшедший дом сдать и в суд идти разводиться.

– А как же сглаз? – спросила Вера. – Нельзя, что ли, избавиться?

– Тут темный кругозор, – непонятно объяснила гадалка. – Могу порчу на него навести, на твоего, он сам отсохнет.

– Не надо! – сказала Вера, поджала губы и фотографию убрала в сумку. – Сколько я вам должна?

Получив гонорар, гадалка сосчитала деньги и выписала квитанцию. Эта квитанция разозлила Веру больше всего. Квитанция! Выйдя на улицу, она разорвала бумажку на мелкие кусочки, бросила на тротуар и пошла на Старый рынок.

Вернувшись домой, она нашла в ящике письмо из адвокатской конторы. Адвокат уведомил господина Леонида Шор-Табачника, что его квартира продана и все бумаги оформлены надлежащим образом.

– Я так договорился, что мы остаемся жить в этой же квартире, только будем платить за съём, – твердил Леня Шор-Табачник, с некоторой тревогой глядя на плачущую и воющую Верку. – Получится даже лучше: за месяц обойдется меньше, чем по ссуде.

– А деньги где? – захлебываясь слезами, всхлипывала Верка. – Деньги ты куда дел?

– Ну, деньги... – пожимал плечами Леня. – Штурвал купил, бимсы, полотно, краску, из меди кое-что и, главное, киль... Список, что ли, показать?

– Убил, – заливалась Верка, – детей оставил на улице!

– Мы скоро на яхту переедем, – добросовестно успокаивал Леня, – там будем жить. Места хватит, и воздух какой. Ни этого жулья, – он ки-

вал голову на Старый рынок за окном, – ни шума. Это ж ясно!

Гадалка оказалась права: надо было разводиться. Денег на адвоката не было, и Верка нашла приработок – по утрам, до школы мыла окна в конторских помещениях. Платили неплохо.

Вид сверху, с восьмого этажа, открывался дивный: белый песчаный берег переходил в волнистые пески, на них зеленели острова пальмовых парков и апельсиновых рощ, слева, как бараньи орешки, скатывались к морю домишки Газы, а справа, вдали, угадывались белые башни Ашдода. Стоя на подоконнике, с тряпкой и резиновой отжималкой в руках, Вера вглядывалась в затаенный молочной пленкой горизонт с низким солнцем над ним и, утратив ощущение времени, ждала чуда: появления над морем неведомого Бога или хотя бы ангела на парусных крыльях, с золотой трубой у лица. Мир представлялся ей одномерным, простым и милым. Звонок телефона за ее спиной, на одном из столов, хлестнул ее, как плеть. Она вздрогнула и оступилась на подоконнике.

И мир, прежде чем исчезнуть, перевернулся в ее глазах и снова стал самим собой.

Кладбище снимает окалину с сердца. Вид могил с лежащими в них приземляет bestолковый полет еще живущих.

Кладбище – это порог Вечности, которая и есть Бог.

Так или примерно так думал и ощущал Леня Шор-Табачник, бредя по дорожкам кладбища к Вере. Время, продвигаясь ни шатко ни валко, со дня похорон пропустило сквозь пальцы низку дней и ночей – подобно тому, как прилежный богомолец пропускает зернышки четок на шнурке, – и земля вокруг Веры успела вспучиться новыми коричневыми горбиками.

Проходя, Леня всматривался в надписи на надгробьях. Сотни незнакомых имен ни о чем ему не говорили, но толпа обитателей этого места была благожелательна к пришельцу, и Леня испытывал к ней благодарность за такой прием. Он уже давно не чувствовал себя так хорошо и защищенно, он испытывал к кладбищу уважительную любовь, как к царю – и вовсе не оттого, что здесь теперь была Вера. Он вообще думал о Вере не в первую очередь, она уже скрылась за поворотом, ее не стало видно. Да и вещи, которые могли бы о ней напомнить: стул, на котором она сидела, щетка, которой она расчесывала волосы, – все это исчезло вместе с ней и вместе с квартирой на Старом рынке, откуда пришлось съехать за неуплату и переселиться на Яхту, в крытый толем шалаш, к Иванову. Детей никак нельзя было взять с собой, и социальная Служба опеки малолетних пристроила их временно в детский дом. Там им было хорошо.

А вот с Ивановым начались проблемы. Чем ближе подходил Конец света, тем тревожней становился Иванов и задумчивей. Он больше пил и больше курил. Он даже купил брусок мыла, сходил на безлюдный по зимнему времени года общественный пляж и вымылся там под одиноким краном с ног до головы, хотя мытьем тела до тех пор не злоупотреблял. Лене Шор-Табачнику иногда казалось, что Иванов обрадуется если Мессия в назначенный час изменит направление своего пути и пройдет мимо Ашкелона, куда-нибудь.

Сидя на кладбищенской лавочке, в тени сильных деревьев, Леня представлял себе появление Мессии: вот он идет, строгий старик в белом пиджаке, он не глядит по сторонам, губы его шевелятся: «Час пришел! Час пришел!» В руке Мессия несет холщовый мешочек со съестными припасами, голова его не покрыта, седая грива посверкивает дождевой пылью. Такой старик, пожалуй, может и испепелить, если захочет; опасный старик. Лене Шор-Табачнику хотелось бы спросить у Мессии, придет ли он на берег, к Яхте, где Иванов его ждет, но он побаивается задать вопрос и робеет. Как бы там ни было, нужно идти и предупредить Иванова, чтоб он был окончательно готов.

А Иванов пил, сидя на песке берега. Он пил, чтобы обогнать время и чтоб на душе стало светло и прохладно. Допив бутылку «Узо», он поглядел на часы; шел шестой час, Конец света еще не наступил. Иванов досадливо сощурился и покачал головой: Бог избрал Время, а не часовые стрелки. Потом он поднялся на ноги и полез в яхту, в шалаш – спать. Закурив «Ноблес», он растянулся на резиновом тюфячке и закрыл глаза. Сигарета, дымясь, выпала из его пальцев и откатилась к горстке сухих стружек в углу.

Яхта горела. На фоне предвечернего высокого неба, смыкающегося на горизонте с темным морем, столбик огня казался небольшим, как костерок охотника. Леня Шор-Табачник смотрел на огонь сверху, с морщинистой скалы, и не спускался вниз.

Яхта горела, до Лени доносился ровный гул пламени. Девичьи очертания Яхты невозможно было угадать в золотой глубине костра; так мог гореть дом или завал сухих бревен. И это устраивало Леню: не могла же его Яхта, если говорить всерьез, взять и превратиться во прах, как Индира Ганди на берегу реки Брахмапутры.

Яхта ушла от него, вот в чем было дело. Нет, она не изменила ему с другим, это – нет. Она ушла, потому что ей надоело ждать, когда он выполнит все свои обещания: подарю парус, подарю штурвал красного дерева с медными заклепками, подарю картину Айвазовского «Рассвет над морем» в золотой раме. Где штурвал, где картина Айвазовского? Сколько можно ждать? Любая на месте Яхты давно бы уже ушла...

Леня отлепил взгляд от огня и глядел теперь на море. Яхта легко шла, покачиваясь на волнах. Ее парус был упруго выгнут и полон ветра. На мачте бился флаг, Леня разглядел на нем оранжевого кентавра и удовлетворенно покачал головой: ни о какой измене нет и речи, это его флаг, все в порядке. Просто Яхта снялась и ушла. Пусть она будет счастлива и не таит обиды в душе.

Через полчаса или через час – уже смерклось, воздух потемнел до синевы и стал почти осязателен на ощупь – Леня Шор-Табачник спустился со скалы и подошел к пожарищу. Он разглядывал тлеющие головешки со снисходительным интересом, как вполне посторонний человек. На оклик Иванова, сидевшего на песке, в сторонке, он не откликнулся. Набрав в грудь побольше воздуха, тревожно пахнувшего горелым деревом, Леня затянул, завыл на одной ноте, как морской ветер: «У-у, у-у-у!» Так стоял и без слов пел, пел и заклинал и раскачивался, как на молитве.

В больницу «Тель-Меир» Иванов его привез в машине скорой психиатрической помощи. На вопрос, как его зовут, Леня не отвечал, и другие вопросы тоже оставил без ответа. Тогда хватились Иванова, чтоб помог заполнить опросный листок.

Но и Иванова нигде не нашли.

Спасение Ударной армии

Глухой ночью змея укусила солдатку Розенцвейг за гениталию. Казалось бы: ну, что тут такого? Война все спишет...

Ночь была приятная, немного ветреная. Ветер дул и дудел, звезды красиво сверкали над Синайским полуостровом. Солдатка Розенцвейг вышла из палатки на волю, стала там оправляться и ее тянула змея.

– Сразу видно, что она не из Галиции, – узнав о происшествии, заметил сержант Мишка Гербер, хустский уроженец. – Галичанские бабы писают стоя. Если б она тоже писала стоя, никакая змея ее бы не достала. – Мишка Гербер считал себя истинным галичанином, и это обстоятельство как бы приподнимало его над синайской песчаной равниной.

А со змеей было все не так просто. Командир батальона подполковник Дуду Бар-Муха, по кличке Тембель*, еще третьего дня обошел солдатские палатки и все объяснил: «Вы, ребята, даже не сомневайтесь. Я сам из Марокко, я знаю: тут змей никаких нет и быть не может. Я это вам прямо говорю. Скорпионы – да, это дело другое. Но где их нет, скорпионов! Тут надо под ноги глядеть, не зевать».

Солдатка Розенцвейг тоже, надо думать, не зевала, а вон что вышло. Мало того. Назавтра вечером, уже после истории с солдаткой, в нашей палатке обнаружился змеенок. Солдаты, числом восемь, включая Мишку Гербера, валялись на двухъярусных койках. Откуда ни возьмись появился змеенок, чиркнул по земляному полу. Солдаты, живенько подобрав ноги, заорали на своих койках, а змеенок от этого ора и почему-то хохота юркнул в ближайший красный ботинок, валявшийся около койки. Не сговариваясь, солдаты выдернули из-под своих тощих матрасиков автоматы М-16 и открыли ураганный огонь очередями по десантному ботинку. Это правильно, что автоматы кладут под матрас, чтоб всегда были под рукой.

На шум прибежал Тембель, имевший нехорошее обыкновение шататься по лагерю в темноте и выуживать солдат, вышедших подышать воздухом без каски на голове. Такие любители свежего воздуха могли, с подачи Тембеля, угодить под трибунал и схлопотать денежный штраф или двое суток губы. Приятного мало.

– Вы чего? – заглядывая в палатку, но не входя, спросил Тембель.

– Змея! – укоризненным хором объяснили мы со своих коек. В этой укоризне заключалось и то, что змея ужалила солдатку Розенцвейг, и то, что уверения подполковника – тут, мол, этих тварей не сыщешь и днем с огнем – оказались пустым звуком.

Тембель ковырнул носком разнесенный в клочья ботинок.

– Исключительный случай, – постановил Тембель. – А вы уже испугались. Израильские солдаты боятся какой-то вшивой змеи! Учебный фильм все видали?

Нечего было и гадать, какой именно фильм имел в виду Тембель. Он имел в виду потрясающую трофейную ленту, на которой египетские десантники, пробегая верблюжьей парадной рысью мимо трибуны с начальством, выдергивали из-за пазухи живых змей и сжирали их на бегу, начиная с головы. Глядя на эту мрачную трапезу, нельзя было не взгрустнуть о том, что господь Бог послал нам таких жутких соседей.

Войска соседей стояли тут же, за Суэцким каналом. Посреди канала нелепо торчал из воды притопленный кубинский сухогруз. Гражданских вообще нигде не было видно, они куда-то ушли или попрятались, как сквозь землю провалились. По белым лицам пустых прибрежных городов бродили только кошки да ослы. Собаки не появлялись, арабы не любили собак, считают их нечистыми. Кто-то нам рассказывал, что если араб случайно прикоснется к собаке, то он потом не может совершать намаз. У каждого свои заморочки.

Соглашение о прекращении огня было уже подписано на 101-м километре от Каира, в пустынной степи справа от шоссе. Там разбили огромную палатку, настоящий шатер, как в древние времена, когда в ходу были кожаные рубли и деревянные полтинники, а солдаты скакали с пиками на лошадях, а не ездили в танках и самоходках. Вечерело, египтяне выставили шеренгу с одной стороны шатра – почистились, построились и ровно стояли, несмотря на поражение. А наши раскидались кучками по всей степи до горизонта вокруг костерков, на которых варили кофе – грязные, заросшие, только-только из боя. Вся степь была в этих костерках, как будто тут конники Чингисхана спешили на ночь и варят свою кашу... Подписывать соглашение прилетел начальник военной разведки генерал Аарон Ярив. Он по-молодому выпрыгнул из вертолета, поглядел на вытанувших по стойке «мирно» почтенных египтян, усмехнулся и прошел в шатер. В шатре он недолго пробыл – обсуждать было нечего, а подготовленные документы лежали на столе.

Война к тому времени уже почти закончилась: Арик Шарон, форсировав Суэцкий канал, проружил своими танками его африканский берег, настигивая зенитными ракетами. Теперь нашим самолетам ничего не мешало атаковать стратегические объекты в глубине Египта. На Синае слышалась еще кое-где стрельба: то пытались пробиться к своим, на Запад, отбившиеся от разбитых и разметанных частей группы египетских солдат. Пленных не брали, у сдававшихся тысячами египтян отбирали оружие и ботинки и отпускали: идите домой! И это было умно: пленных надо кормить и охранять, а без оружия и босиком в пустыне много не навоюешь.

Самую большую головную боль причиняла нашему начальству Ударная египетская армия. Прижатая к каналу с синайской стороны, поредевшая, обескровленная и обезвоженная, она все же представляла собою боевую единицу. Что с ней делать, не знал никто. Одни предлагали распустить ее по домам, другие – сечь напалмом; а время шло, и поползли уже разговоры, что израильтяне специально, с дальним прицелом ничего не делают и что в Ударной вот-вот начнется повальный мор. Нам, в наших палатках, плевать было на то, что случится с Ударной армией, в сорока километрах от нас. Мы уже полтора месяца не получали увольнительных, и поездка домой на сорок восемь часов стала для нас нежной мечтой, которую даже не стоило представлять вживе, чтоб не спугнуть.

Однако же и на Синае, вблизи священной горы, на отрогах которой не остыли еще следы пророка Моисея со скрижалями в руках, всякая вещь имеет свой конец. Дождались и мы: нас отпускают на пятницу и субботу, за нами придет транспортный «Геркулес» по прозвищу «Гиппопотам» или, сокращенно, «Гиппо». Сорок минут полета – и мы дома. Ура!

Уже с утра мы то и дело поглядывали на небо: не летит ли транспортник. «Гиппо» должен был приземлиться в четыре, и нам объявили, чтоб мы были готовы. Да мы и так были готовы: оружие при нас, электробрита, кое-какая трофейная на память мелочевка с того берега канала, из Африки. Какая мелочевка? Ну, какая... Брикетик мыла «Земляничное» саратовской, что ли, фабрики или солдатская штормовка, тоже советская. Мы под Порт-Саидом военный склад вскрыли, а там одни штормовки эти и мыло, больше ничего нет. Ну, все же трофеи! И уже на выходе внимание обратили: на двери бумажка висит, на ней написано «Заминировано». Ну, думаем, пронесло... Оказывается, это наши ребята из полевой контрразведки бумажку прилепили, чтоб не лазили, ко-

му не положено. А чего там лазить, кому это мыло нужно? Может, сами египтяне склад успели грабануть, оставили одно барахло.

А то, что было там еще кое-что, это точно. Сапоги, например. Настоящие русские сапоги! Низкие такие кирзачи, на две ладони ниже колена. Гербер Мишка под пустыми полками нашел пару. Отличные, между прочим, сапоги, их носить – не переносить, года на два хватит, а наши ботинки рассчитаны только на шесть месяцев. Полгода – расчетный срок. Если полгода прошло, а солдат топает себе дальше, ничего с ним не случилось, – ему новые ботинки выдадут. А если случилось, то тогда и новые ботинки ни к чему. И в этом, если вдуматься, ничего такого нет особенного. Зачем мертвому солдату новые ботинки? Средний срок жизни солдата по статистике – полгода, и если ботинки всем подряд шить, предположим, на год, то это дороже обойдется налогоплательщику. А чего ради? Чтоб совесть спокойная была у госконтролера? Так ведь это для нас шьют, для солдат, а у нас и так совесть – броня; так что все в порядке.

Да это нас и не волнует, сказано же: каждой вещи свой срок. Если бы Господь Бог хотел сделать нас бессрочными, он дал бы нам алмазные зубы – а у нас скрепки какие-то во рту, от них одни неприятности, не говоря уже о том, что никаких денег на ремонт не напасешься. Пока в армии, чинят за счет казны, а после демобилизации делай, что хочешь.

Я люблю армию. Не из-за зубов, конечно, я ее люблю. У нас в армии все, строго говоря, равны – как в бане: там тоже кипятки на всех один. А что наш Тембель придурок, так это ничего не меняет: дурак – он и в Африке дурак, и это в прямом смысле. Вон она, Африка, за каналом, и если Тембель перейдет на ту сторону по понтонному мосту, он умней от этого не станет.

Да, в армии все равны, хотя один приказывает, а другой как бы беспрекословно подчиняется. Для того, чтобы в армии тебе было легко и хорошо, надо валять дурака и в этом состоянии все время пребывать. Вот и я валяю дурака, и объясняюсь по-дурацки, и прекрасно себя чувствую. А если начнешь рассуждать о философии войны и насилия, о крови и проверенных военных хитростях, когда надо обмануть человека, заманить его в западню и убить из-за угла, это – беда.

По существу, солдаты – те же испорченные дети, армия – детский сад. Тут и ходят строем, и поют всякую муру по принудилке. Дети должны слушаться. Пой, и все, хотя у тебя нет к этому никакой склонности. И наказание тебе светит, если что не так и старшие поймают. Только в детстве нас тянуло отодрать у мухи крылышки, у кузнечика – голову, а то и кошку стукнуть ни за что, ни про что палкой с гвоздем. А в армии главная задача – укокошить врага на законном основании.

Все мы, с блуждающей улыбкой на поблекших щеках, мечтаем вернуться в детство хоть ненадолго. Вот и возвращаемся в армии. «Р-рота! За-певай!» Топ-топ, топ-топ. Взрослым людям неестественно ходить гуськом под музыку, уставившись в затылок друг другу. На гражданке так пойдешь – подумают, что психи сбежали из сумасшедшего дома. А детям можно, и многие даже думают, что это трогательно и красиво.

К посадочной полосе мы потянулись врассыпную и без песен. Увольнительную получили шестнадцать солдат – две палатки. Подходя, мы уже по-деловому смотрели то на часы, то на небо: ну, где же «Гиппо», чего ж не летит, черт его возьми! До Тель-Авива час лета, а оттуда многим из нас еще предстояло добираться до дому два-три часа. Стоя у края полосы, мы нетерпеливо переступали с ноги на ногу, как будто самолет уже приземлился и мы сейчас толпой бросимся садиться.

Наконец, с небес прилетел далекий рев моторов, и мы сразу ослабились: вон он, вон он! Хотелось погрузиться как можно скорей и подняться в воздух.

И тут явился Тембель.

– Ну как, ребята, готовы? – подозрительно сладко спросил Тембель. – Молодцы! – И продолжал уже неприятным голосом: – Тут у Ударной армии проблемы, смертность у них подскочила, теперь весь район провоняют... Надо им помочь, кровь сдать. Спасти то есть. На добровольных, конечно, началах.

Новость била наповал.

– Как это? – спросили солдаты вразнобой. – Кому?

– Им, – не стал вдаваться в подробности Тембель. – Ударной. Спаси, я сказал.

– Да нет! – немного оклемавшись, выступил вперед Мишка Гербер. – Кому сдавать-то?

– Не понимаешь? – нехорошо прищурился Тембель. – Нам! Добровольно!

– Вот это да! – сказал Мишка Гербер и поглядел на нас злыми глазами. – Вот это по-нашему! Пусть гражданские сдают, мы-то тут при чем! Кровь!

«Геркулес» тем временем зашел на посадку, сел и поехал по неровной земле. Оставалось подняться в самолет, пристроиться на железных сиденьях, укрепленных вдоль бортов, и улететь домой.

– Не хочешь – не сдавай, – сказал Тембель. – Я ж говорю: дело добровольное. Но кто не сдает, домой не поедет. – Крутанувшись на каблучках, он размашисто зашагал к штабному барраку. И мы, понуриив головы, угрюмо поплелись за нашим командиром Дуду Бар-Мухой.

– Главное, чтоб самолет без нас не ушел, – пробормотал Мишка Гербер. – Ну, что ты будешь делать!

– А то ты не знаешь, – подбодрил я Мишку Гербера. – Пол-литра сдал – и свободен. И еще чашку кофе дадут с бутербродом.

– На черта мне этот бутерброд! – сказал Мишка Гербер и в сердцах махнул рукой. – Я, как увижу кровь, сразу сознание теряю.

Это было что-то новенькое: Мишка Гербер прошел всю войну в боевых частях, и быть такого не могло, чтоб он крови не видал.

– Какую кровь-то? – спросил я, стараясь разобраться в услышанном. – Чужую или свою?

– Все равно, какую, – сказал Мишка Гербер. – Теряю – и все. Это вроде такой болезни. И внутри все едет.

– А если не смотреть? – предложил я обман. – У тебя берут – а ты в это время отвернись.

– Не поможет, – кисло поморщился Мишка Гербер. – Ты отворачиваешься, а тебя все равно тынет смотреть. Так тынет, что не утерпишь. Я-то уж знаю.

Палатка, оборудованная под полевой лазарет, стояла сразу за штабным барраком. Раскладные походные койки были готовы принять доноров в свои парусиновые ладони. На дощатом ящике, на голубом подносе, покрытом марлей от мух, тесно лежали бутерброды с сыром. Все было готово. Фельдшер, покуривая, ждал.

Не снимая обуви, мы молча улеглись. Фельдшер быстро переходил от койки к койке, наклонялся и делал свое дело. Я глядел, как наша кровь шибко бежала в пластмассовые прозрачные мешочки.

Когда очередь дошла до Миши Гербера, он как-то затравленно огляделся и, поймав мой взгляд, подмигнул мне. Я слышал, как он скрипнул зубами, протягивая фельдшеру выпропанную из рукава гимнастерки руку. Головы он так и не отвернул и зачарованно следил за тем, как длинная игла шприца глубоко вошла в его вену. Потом кровь показалась в трубочке и уверенно поползла по ней вверх, к мешку, а тело Миши вдруг выгнулось, а потом обмякло, и голова откинулась на подушечный валик.

– Э! – окликнул я фельдшера. – Он сознание потерял!

– Ничего, – переходя ко мне, сказал фельдшер. – Это бывает. Пройдет.

«Гиппо» ревел всеми своими четырьмя моторами, в грузовом отсеке стоял ровный грохот. До посадки оставалось еще минут двадцать. Мы, плечо в плечо, сидели вдоль борта, а у наших ног, на железном полу, лежал на носилках Мишка Гербер. Он еще не пришел в себя, фельдшер вкатал ему что-то успокоительное, и он теперь спал. Дикий шум, как видно, не тревожил его.

Ударная армия была спасена.

* Тембель (*иврит*) – простецкая крестьянская шляпа. В переносном смысле – «придурок».

Золотая башня

В цветочном магазине Гликштейна на площади царя Саула дела идут хорошо; на приятной сумме оборота не сказывается ни время года, ни колебание курса тель-авивской биржи, ни стрельба на границе. И если народ не осаждают прилавков и не расхватывает тюльпаны с орхидеями – и не надо: устойчивые доходы обеспечиваются заказами для Золотой башни.

Как появилось в обиходе это название – Золотая башня – уже едва ли кто достоверно припомнит. Верней всего, запали кому-то в голову другие два слова, мелькающие то и дело на легких страницах газет и рекламных проспектов – «Золотой возраст» – и, чуть подправленные и подредактированные, прилепились-припечатались к трехэтажному дому престарелых, выглядывающему на улицу Пророчицы Деборы из эвкалиптовых и пальмовых зарослей. Но, вполне возможно, не осталось в стороне и иное обстоятельство: эта богадельня стояла среди

мраморных особняков богатой Герцлии, и проживание в ней, в двух шагах от морского прибоя, влетало старикам или их детям в золотую копеечку.

Так или иначе, но никого из клиентов в их золотом возрасте, ни шустрого обслугу, ни, тем более, владельца заведения г-на Шая Фрумера не занимал вопрос, – а зачем, собственно говоря, и чего ради понадобилось собирать под общей крышей стариков и старух, связанных между собой лишь одним, уже истончавшим и истрепавшимся шнурком – возрастом. А больше их ничего не объединяло – ни любовь к морю или эвкалиптам, ни тяга к игре в домино. С тем же успехом можно было собрать в одном питомнике только рыжих или только кривых, или только рожденных от еврейской матери. Да что там пигмент или инвалидность! Еще полшага, еще шаг – и можно представить себе облезлых попугаев с кисточкой над горбатым шнобелем, в сетчатой вольере, или угрюмых козлов за колючей проволокой, пусть даже и позолоченной... Прекрасная пестрота мира никак здесь не проступала. Улица Пророчицы Деборы день за днем текла мимо Золотой башни, омывая ее розовые вялые стены, прочные, как память о башне Вавилонской.

Проволока, правда, не вилась вокруг богадельни, а красиво темнела изгородь – кипарисы вперемежку с зелеными шарами стриженного кустарника. Пересекать декоративную межу не возбранялось обитателям богадельни, но никто из них не выходил и не выезжал в креслах-каталках в сопредельный мир, на волю. Старики, висло около тридцати, большую часть дня проводили в гостиной второго этажа с полукруглым застекленным фасадом, выходящим во двор. Песчаная площадка двора с четверкой финиковых пальм, с клумбой посредине, упиралась в кипарисы и шары забора, за которым открывалась улица Пророчицы Деборы. Впрочем, открывалась она взглядам лишь тех, кто глядел в окна полукруглой гостиной, из прохладного кондиционированного пространства. Из-под пальм двора, пропеченного солнцем, улица не просматривалась, зато слышен был накачивающий шум проезжающих автомобилей и голоса редких пешеходов.

Во дворе, на пластмассовых дачных стульях, содержались с девяти утра по пяти часов пополудни приходящие старики. Этим стариков, как детей в садик, на продленку, приводили и забирала родственники. Приходящие, таким образом, ни в коей мере не являлись полноправными жильцами Золотой башни – они гнездились у ее подножия, на птичьих правах. Их взлет на второй этаж, в полукруглую гостиную, означал бы кардинальную смену финансовых ориентиров; такое могло бы им привидеться разве что в беспокойных старческих снах. Но сны о чудесном неожиданном обогащении – свалившийся с неба под ноги мешок золота или клад в глиняном горшке – не тревожили приходящих стариков: им мерещились голубые тихие холмы, по которым гуляли вежливые юноши и девушки с крыльями из белых перьев за спиной. Клады и золотые мешки сняты молодым.

Потая под пальмами, на дачных стульях, старики неприязненно поглядывали на медовые стекла второго этажа. Да и из-за стекла глядели на нижних приживалов без всякой симпатии: по мнению обитателей Золотой башни, г-н Шай Фрумер, владелец, мог свести концы с концами и без дополнительных доходов.

День в богадельне начинался с раздачи лекарств. Очередь постояльцев выстраивалась в холле, у мраморного розового барьера, похожего более на стойку в лобби хорошего отеля. Сестра в белом крахмаленном халате раздавала приготовленные с вечера именны пакетики с разноцветными таблетками; работа шла споро. Этот ежедневный ритуал, в затылок за которым следовал первый легкий завтрак, открывал собою новый день, к исходу которого начинали неспешно готовиться уже с обеда.

Раздаче лекарств, носившей скорее символический характер, чем лечебный, предшествовала, как взлет занавеса перед началом театрального действия, непременная встреча у розового барьера двух ветеранов заведения; она и открывала накатанный ход утреннего времени. Первым появлялся в холле, в своем кресле с никелированными колесами, поджарый старик в сером костюме в полоску, в галстук сливового цвета и черной фетровой шляпе. Немедля, как по указке режиссера, въезжала на украшенной голубым бантом каталке прямо сидящая старуха с красивым строгим лицом; в ее серых ссохшихся ушах, под гладко зачесанными волосами, посверкивали разноцветными искорками бриллиантовые серьги. Старик решительно направлял свое кресло в сторону, пропуская даму. Так, гуськом, они и подъезжали к розовому барьеру, на котором стоял умело подобран-

ный букет цветов в хрустальной вазе, и краснели, желтели, зеленели южные фрукты на серебряном подносе. В ожидании сестры, которая вот-вот должна была появиться, мужчина снимал шляпу со старой голы, помещал ее на колени и обращался к женщине:

– Позвольте представиться, моя госпожа: Реувен Гилад.

Женщина медленно поворачивала голову к учтивому соседу и окидывала его доброжелательным, но строгим взглядом когда-то синих глаз чистой воды:

– Леа Текоа. Приятно познакомиться...

Он был прославленным поэтом, она – знаменитой актрисой. Вся их жизнь прошла в одном кругу, в тесном общении. В свое время, в прошлом веке, поговаривали, и довольно громко, о быстролетном ярком их романе, результатом которого явилась общая дочь. С течением времени разговоры заглохли, а дочь затерялась в мире или умерла.

Забывчивость стала уделом многих под черепичной крышей богадельни. Приходящие старики, обойденные социальным равенством, были в этом отношении менее уязвлены, более стойки. В один прекрасный день они просто не являлись в назначенный час в пальмовый дворик, на улицу Пророчицы Деборы, уходили из круга живых, так и не испытав провала памяти – этой имитации иной, неведомой жизни. Вполне вероятно, что и этот недозвон – в их неприязни к обеспеченным всем и сполна жителям Золотой башни – представлялся им побочным проявлением несправедливости мира.

А многочисленная родня золотобашенных стариков не отличалась забывчивостью. Не выпадало такого дня, когда рассыльные из цветочного магазина Глишштейна не въезжали бы на своих красных мотороллерах во двор богадельни и, обдав приходящих стариков на их дачных стульях облаком пыли и песка, не взбегали бы, с букетами и корзинами в руках, через две ступеньки на крыльцо Башни. Цветы и коробки конфет исправно доставлялись сюда по всякому поводу – в дни рождений и годовщины свадеб и смертей, в государственные и религиозные праздники, отмеченные в календаре красным числом. Да и без повода являлись сюда глишштейновские посланцы в ярких шлемах и желтых кожаных перчатках: просто у сыновей и дочерей, племянников и внуков с внучками вспыхивала вдруг, ни с того, ни с сего душевная необходимость поделиться со своими стариками радостью жизни. Конфеты и цветы почему-то являлись принятым эрзацем этой радости – а не книги или, скажем, певчие птицы в клетках из серебряной проволоки с золотым висящим замочком.

Не чаще, но и не реже других получал свои подарки Мендель Лубоцкий; счет им, собственно говоря, никто и не вел, кроме г-на Глишштейна, владельца цветочного магазина на площади царя Саула. Восьмидесятитрехлетний Мендель передвигался по богадельне на своих ногах, собственными силами; помощником ему служил лишь алюминиевый ходунок с черными резиновыми копытцами. Когда-то, век назад, Лубоцкие владели лесными массивами на Украине, а в темном 17-м году, не дожидаясь прихода большевиков, семья перебралась в Бразилию. Там, в солнечных краях, дед Менделя со знанием дела взял в концессию дикие заросли вдоль реки Амазонки, поставил лесопилы, мебельные и картонажные фабрики. Денег было много, а стало еще больше. На бразильских землях Лубоцкого нынешнее Государство Израиль могло бы уместиться четыре с половиной раза – этот географический факт Мендель в разговорах с престарелыми собеседниками, в полукруглой гостиной второго этажа, упоминал не без гордости.

Часть менделевой обильной родни, выйдя из джунглей Амазонки, осела в Рио-де-Жанейро, а сам Мендель с тремя сыновьями перебрался на историческую родину, в тель-авивское предместье Савион, заселенное миллионерами. Особняк, выстроенный в форме гасиенды, можно было смело занести в реестр памятников архитектуры, открывающийся римским цирком в Кесарии и иерусалимской крепостной стеной, опоясывающей Старый город. Во внутреннем дворе гасиенды своевольный старик Мендель завел кур, гусей и – что самое неприятное – пару поросят. Такая любовь к животному миру привела к конфликту с соседями, а затем и в самой семье: вначале взбунтовалась религиозная жена младшего сына, затем в ссору вошел, как нож в сырую землю, вспыльчивый и упрямый первенец. В результате жизнь в доме приобрела неприятный характер, и Мендель с легкой душой съехал из гасиенды в Золотую башню, в двухкомнатный люкс с видом на улицу Пророчицы Деборы. Богадельня пригласила Менделя по вкусу, и через неделю после водворения ему доставили из Савиона памятные предметы: чучело кровожадной рыбы пираньи, картину с изображением лесопилы, реалистического письма и благодарственную грамоту Президента страны за щедрые пожертвования, в золотой рамке. Поро-

сая отвезли в закрытой наглухо машине в некошерный кибуц «Мизра», кур и гусей зарезали. Все встало на свои места, и жизнь размеренно потекла дальше – мимо савионской гасиенды, вдоль забора кибуца «Мизра» и по улице Пророчицы Деборы, на которую глядела поверх декоративного забора Золотая башня.

Тот очередной день, о котором пойдет речь, ничем не отличался от других: поэт представился актрисе, раздача лекарств состоялась, а приходящие старики расселись на своих стульях. Вскоре после десяти раздался знакомый треск мотороллера: приехал первый рассыльный. Протопап по лестнице, ведущей на второй этаж, в гостиную, он приподнял забрало пунцового шлема и объявил:

– Господин Зисман! Распишитесь в получении.

Приняв тяжелый букет гладиолусов, старик Зисман в легком тропическом пиджаке расписался и извлек из чащи букета записку в нарядном конвертике.

«Дорогой папа, – вслух прочитал Зисман, – поздравляю тебя с 84-летием. К сожалению, не смогу приехать – должен присутствовать на совещании Совета директоров. Живи всем нам на радость до 120! Твой сын Ицик».

Прочитав, Зисман вложил записку в конвертик, а конвертик сунул в карман тропического пиджака.

– Хороший сын, – сказал Зисман. – Дай Бог всем нам такого сына. Но почему он решил, что я забыл, как его зовут? Откуда он это взял? – И Зисман, оглядев слушавших внимательно стариков и старух, пожал плечами.

Леа Текоа медленно повернула голову на прямой сучковатой шее, сверкнули бриллианты в ушах.

– А что, – спросила актриса, – его действительно зовут Ицик? Вы в этом уверены?

– Оставьте! – сказал Зисман и снова пожал плечами, на этот раз раздраженно. – В чем, собственно, мы вообще можем быть уверены?

– Рысь, рысь... – сообщил Мануэль Зильбер из восьмой комнаты. – У нас в Палм-Бич, Флорида, кого крокодил не загрызет, того рысь укусит.

– Чепуха! – вспыхнул и покраснел Мендель Лубоцкий. – Чушь! Нет там никаких крокодилов!

– Есть! – искренне возмутился Мануэль. – Что вы мне тут рассказываете! Да это просто наглость, безобразия какие!

– Не вздумайте затыкать мне рот, любезный, – предостерег Мендель Лубоцкий. – Нет крокодилов. Есть аллигаторы. Ал-ли-га-то-ры! И рысей нет, а только пумы.

– А вы откуда знаете? – вкрадчиво спросил Мануэль. – Все-то он знает, Господи ты Боже мой, владыка небес!

– И все-таки, – поводя руками из стороны в сторону, сказал Зисман, – моего сына зовут Ицик. Тут не о чем говорить.

Дружелюбное урчанье мотороллера донеслось с улицы Пророчицы Деборы. Рассыльный взбежал по лестнице, шлем на его голове был синезеленый, переливчатый. Из шлема выглядывала мальчишеская физиономия, поросшая рыжей бородой.

– Госпожа Глюк, вам корзиночка! Распишитесь!

В украшенной бантами корзине были уложены красные розы, из них, как остров из морских глубин, выныривала коробочка шоколадных конфет.

– Это от моих, – ни к кому в отдельности не обращаясь, сказала Хая Глюк. – Угощайтесь.

– А что пишут? – подъезжая на своем кресле, с любопытством спросил поэт. – Пишут что-нибудь?

Хая Глюк открыла конвертик с картинкой – цветочный сад, гном на валуне – и развернула листок бумаги.

«Дорогая мама, – прочитала Хая Глюк в ватной тишине, – сегодня, в день шестидесятилетия твоей свадьбы с незабвенным папой горячо поздравляем тебя и любим. Пусть твоя жизнь будет сладкой, как эти конфеты! Любящие дети, а также внуки и правнуки».

– Это все? – спросил поэт. – А на оборотной стороне ничего нет?

– Нет, ничего, – взглянув, сказала Хая Глюк и пожалала плечами. – Просто дело в том, что у меня сахар, и я уже семнадцать лет не ем шоколадных конфет.

Надвинув шляпу на лоб, как в ветреную погоду, поэт отъехал на своем кресле.

– Милочка! – позвала Хая Глюк. – Будьте любезны!

Медсестра подошла, лавируя между стариками.

– Отнесите цветы в мою комнату, – сказала Хая, – а конфеты раздайте там, внизу.

Там, внизу, расположившись на своих дачных стульях, приходящие старики разворачивали свертки с полдником, принесенным из дома: ломтики курицы, бутерброд с баклажанной икрой. Чаем и кофе приходящих обеспечивало заведение.

Вулодя Маркадер, крепкий старик с покрытым остатками толстых седых волос коричневатым черепом, с янтарными глазами, в которых, вглядываясь на просвет, возможно было, казалось, обнаружить доисторическую мошку или комара, – этот Вулодя с увлечением жевал и перекачивал во рту кружок фаршированной гусиной шейки, запивая еду чаем из пластмассового стаканчика.

– Я, например, пострадал через трикотаж, – свешиваясь к Вулуде Маркадеру со своего пластмассового креслица, сказал плоский старик в синем пиджаке с орденской планкой на лацкане. Орденосодец говорил на раскатистом идише, немного даже утробном. – А вы, рэб Вулудя?

– А я не страдал, – по-русски, с гладким польским акцентом сказал Вулудя. – Я пел.

– Что? – еще больше свесившись, спросил орденосодец. – Пел? Как пел?

Медсестра в белоснежных кроссовках спустилась с лестницы под пальмы и остановилась посреди нижних стариков, как посреди пнистой лесной поляны.

– Вам прислали бонбоньерку, – объявила сестра, поднимая над головой и показывая картонную коробку, схваченную розовой ленточкой. – Приятного аппетита!

– Это не нам прислали, – поправил сестру Вулудя Маркадер. – Это им прислали. И нечего тут заливать... Давайте коробку!

– Я пострадал через трикотаж, – подкислив большое серое лицо, повторил орденосодец. – Поверьте мне, я знаю Сибирь. А теперь я жарюсь тут на солнце, и мне хорошо.

– Жарьтесь, жарьтесь, – распутивая розовую ленточку, сказал Вулудя. – Идите в армию, если вам так хорошо.

– Я хочу конфетку, – сказал орденосодец. – Дайте.

– А я хочу, чтоб меня позвали наверх, – сказал Вулудя Маркадер, указывая на полукруглую террасу второго этажа. – Но меня никто не зовет.

Обдав стариков теплой золотистой пылью, мотороллер остановился перед лестницей, ведущей наверх. Вулудя молча глядел на рассыльного, взбегающего по ступенькам, своими янтарными глазами. В огненном солнечном освещении рассыльный в красном комбинезоне сам казался языком театрального пламени.

– Цветы для господина Шауля Бен-Дора! – выкрикнул рассыльный, вбежав в гостиную второго этажа. Тяжелый букет роз лежал в руках рассыльного, как толстый ребенок.

– Это мне! – сказал кругленький толстячок по имени Шауль Бен-Дор в складывая газету, зашуршал страницами. – Давайте сюда. Где расписываться? Здесь? Давайте! – Его голова, присыпанная остатками мягких легких волос, порозовела.

– Читайте! – требовали со всех сторон. – От кого? Кто прислал? – И только актриса из своего кресла глядела на толстяка и его букет со спокойным недовольством.

«Наш дорогой и любимый папа, дедушка и прадедушка! – развернув записку, прочитал Шауль Бен-Дор. – От всего сердца поздравляем тебя с 50-летней годовщиной твоего первого избрания в кнессет. Неотложные дела не позволяют нам прийти к тебе в этот великий день и снова отрывают нас от встречи, а Муля уехал на Сейшельские острова. Будь счастлив и здоров, твоя любящая семья».

– А Муля уехал... – повторил поэт, сбил шляпу набок и решительно отъехал от собрания.

– У меня замечательная семья, – сделав ударение на «меня», сказал толстяк Бен-Дор. – А Муля увлекается подводной фотографией.

– Что же он не увлекается этой фотографией в Эйлате? – сухо осведомилась актриса. – Там тоже можно плавать под водой круглый год.

– У всех замечательная семья, – шлепнув ладонью по столу, сказал Мендель Лубоцкий. – Но как только я завел поросят, они все как с ума посходили. Дети, внуки, невестки – все!

При слове «поросята» присутствующие насторожились и потупились, как будто Мендель Лубоцкий издал неприличный звук. Только медсестра из-за стойки глядела поверх стариков зорко и холодно. И Мендель почувствовал всю неуместность своего сообщения, угрюмо умолк.

Ривка Лиор, улыбчивая старушка с красивыми ровными зубами – слишком красивыми, чтобы быть настоящими – никак не отреагирова-

ла на происшествие: то ли упоминание поросят ее ничуть не покорило, то ли она была слишком увлечена книгой, лежавшей у нее на коленях, на резном пюпитре. Впрочем, возможно, Ривка Лиор просто не расслышала Менделя Лубоцкого.

– Ну, что там новенького у Эркия Пуаро? – несколько покровительственно спросил поэт, решивший разрядить обстановку. – Он всех уже переловил или кто-нибудь еще остался на плаву?

– Нет-нет, это уже не Агата Кристи! – с готовностью улыбнулась старушка Лиор.

– Тогда что же это? – удивился поэт. – Что вы читаете? – Само собою получалось, что ничего, кроме Кристи, старушка читать не могла.

– Это о Тибете, – охотно пустилась в разъяснения Ривка Лиор. – В жизни не читала ничего более увлекательного. Оранжевые монахи, крупа в мешочках и эти дикие горы! И этот воздух, воздух!

– Они там пьют мочу, – неодобрительно сообщил Мануэль Зисман из восьмой комнаты. – Практически каждый день они выпивают по два стакана мочи.

– Тут про это ничего не написано, – сказала Ривка Лиор и улыбнулась немного виновато.

– Мало ли чего там не написано! – поддержал флоридского Зильбера бразильский Лубоцкий. – Да, пьют. И я заявляю это совершенно определенно.

Собрание заметно оживилось, а сестра из-за стойки глядела настороженно. Сообщение об употреблении тибетцами мочи никого не оставило равнодушным.

– А зачем они это делают? – осторожно справилась Леа Гильбоа, актриса.

– Для поддержания здоровья, – дал справку Мендель Лубоцкий. – Для них моча лучше любого антибиотика.

– Раз для них лучше – значит, для всех, – задумчиво сказала Хая Глюк, страдавшая диабетом.

– Многие думают, что это очень полезно, – заметил поэт Реувен Гилад. – Просто некоторые не могут себя пересилить и решиться. – Глядя на Реувена Гилада в его шляпе набекрень, можно было допустить, что сам он не относится к категории нерешительных людей и хоть сейчас готов опрокинуть стакан.

– Я, например, не буду и пытаться, – сказал Мендель Лубоцкий. – Ни за какие деньги!

– Вот и напрасно! – укорил Лубоцкого флоридец Зильбер. – Великий Ганди мог пить мочу, а вы, видите ли, не можете...

– Простите, простите! – подняв свою книжку над головой, вошла в дискуссию Ривка Лиор. – О какой моче идет речь? Об обычной или о коровьей? Да, Махатма Ганди пил коровью мочу и закусывал ее лимоном, я сама читала.

Но вопрос Ривки остался без ответа: вкусы Ганди никого здесь не интересовали.

– Теперь понятно, почему все тибетцы такие выносливые, – сказала актриса из своего кресла. – Жизнь, полная лишений, диктует им свои правила игры.

Нижние старики, осоловев от жары, обмахивались газетами. Без тени, отбрасываемой хрустящими пальмовыми кронами, там было не высидеть.

Дальний треск мотора не привлек вначале ничьего внимания, и лишь когда во двор голубым метеором влетел мотоциклист, распаренные старики подняли на него глаза. Вместо мотороллера под седоком ревел и рычал ослепительный «Харлей», украшенный свешивающимися ремешками оленьей кожи на индейский манер. Вид машины был необычен, производимый ею шум почти невыносим. Водитель в голубом обтягивающем комбинезоне, в украшенном серебряными звездами темно-зеленом шлеме, резко тормознул в воротах, а потом снова дал газ. Старики, выпучив глаза, молча глядели на лихача, на спине которого обнаружилась вцепившаяся наискосок игуана с багровым гребнем на холке. Подъехав к лестнице, ведущей в богадельню, мотоциклист круто, почти на месте, развернулся, и камень размером с кофейное блюдечко вылетел из-под колеса. И орденосный старик в синем пиджаке схватился за скулу. Меж пальцами старика, вдавившимися в драблую кожу, проступила кровь.

– Хорошо, что не в висок, – повернувшись к пострадавшему соседу, сказал Вулодя Маркадер. – И хорошо, что не в меня... Но жить будешь!

– Что это? – отнимая руку от лица, спросил орденосец. – Камень?

– Нет, пончик! – ухмыльнулся Вулодя.

– Держи его! – закричал орденосец. – Он бросил в меня камень!

Старики загудели, задвигали стульями.

– Вам деньги причитаются, – обрисовала положение бухарская старуха с насурьмленными бровями, – через суд. Только справку надо взять.

– Какую еще справку? – хмуро спросил пострадавший.

– О контузии, – сказал Вулодя Маркадер. – Эй, сестра! Сестра!

– Страховка заплатит, – со знанием дела объяснил хромой инвалид Буним. – Тысяч двадцать. А если б в глаз попало, можно было бы требовать все пятьдесят.

Старики умолкли, прикидывая возможности пострадавшего орденосца и поглядывая на него с уважением.

– Это если б араб кинул, сразу бы дали, – с горечью в голосе сказал старик, сидевший особняком, поодаль. – А так будут тянуть, тянуть...

– Так, может, он араб? – промокая щеку бумажным носовым платком, с надеждой предположил пострадавший. – Он же в шлеме, кто его там разберет!

Тем временем мотоциклист, не оглянувшись на взбудораженных нижних стариков, взбежал по лестнице и распахнул дверь гостиной второго этажа. При нем не было ни цветочной корзины, ни нарядной бонбоньерки в целлофане, а только игуана с гребнем, и это вызывало удивление и нарушало привычный ход событий.

– Господин Ципельзон! – откинув забрало шлема, позвал мотоциклист и оглядел собрание. Но никто почему-то не откликнулся.

– Вон он! – сказала сестра из-за стойки, указывая на тучного старика в чесучовом костюме. Старик Ципельзон страдал болезнью Паркинсона – голова его тряслась, руки ходили ходуном, а живот колыхался под просторным пиджаком.

Мотоциклист, шаркая подошвами высоких шнурованных ботинок, подошел к старику и наклонился над ним. Из-за плеча хозяина игуана цепко глядела на Ципельзона.

– Я – Зевик, твой внук, – приблизив лицо к уху старика, сказал мотоциклист. – Сын Леи. Ну, вспомнил? – Он, как видно, сомневался в памяти деда.

– Зевик... – задумчиво повторил Ципельзон, глядя на игуану. – Какой ты стал большой.

– Я школу в этом году кончаю, – сказал Зевик. – Понимаешь, мне долларов двести вот так нужны! – Он показал жестом, ребром ладони, как ему нужны двести долларов. – Я мимо ехал, дай, думаю, заскочу. А, дед?

– А зачем тебе деньги? – с интересом спросил Ципельзон. Ему не хотелось отпускать внука. – Мама не дает?

– Не дает, – сказал Зевик. – Думает, что на травку.

– Ты куришь травку? – спросил Ципельзон.

– Ну, как все, – сказал Зевик. – Немного... Дай, дед! Я ведь все равно достану!

Представив себе, как Зевик намеревается доставать деньги, Ципельзон вздохнул и потянулся к карману за кошельком.

– Приходи еще, Зевик! – отслаивая бумажки, сказал Ципельзон. – И передай привет маме!

Зевик наклонился еще ниже – игуана испуганно и яростно вцепилась пальцами в его комбинезон – и прикоснулся губами к ежику белых волос на голове деда.

Минутой спустя взревел внизу мотор мотоцикла. Нижние старики, глядя на отъезжающего, опасливо прикрылись локтями и газетами.

А наверху, в гостиной, Ципельзон объявил:

– Это мой внук! Видели, какой красавец? Он опять приедет на той неделе.

Старики молчали. Они завидовали Ципельзону до сжатия сердца, до комка в горле.

В неподвижной тишине прошелестела перелистываемая страница книжки: улыбчивая Ривка Лиор, укрепив томик на пюпитре, блуждала среди диких тибетских гор и своими безупречными зубами грызла дзампу из кожаного мешка.

– Вы только послушайте! – положив ладони на книгу, воскликнула Ривка.

– Что там еще случилось? – подъезжая на своем кресле, угрюмо спросил поэт.

– Эти тибетцы просто преступники, бандиты! – в крайнем волнении продолжала Ривка Лиор. – Вы только представьте себе, что они вытворяют со своими стариками!

– Ну, что? – спросил Мануэль Зильбер из восьмой комнаты.

– Когда старики начинают болеть, дети тащат их на вершину ближайшей горы! – сообщила Ривка и улыбнулась жалкой улыбкой.

– Какие дети? – спросил Зильбер.
 – Точней говорите! – потребовал Мендель Лубоцкий.
 – Их! – всплеснула руками Ривка Лиор. – Их собственные дети! Они бросают своих родителей на горе, а потом прилетают орлы и... и...

Известие о тибетских стариках, брошенных птицам на расклев, произвело на собрание сильное впечатление. Каждый поместил себя на место брошенного старика, увидел дикое солнце в фиолетовом небе, услышал свист крыльев пикирующих орлов.

– Не может быть! – подвела черту Леа Гильбоа, актриса. – А куда смотрят власти?!

– Но вот тут написано! – Ривка сняла книгу с пюпитра и подняла ее над головой.

– Это чудовищно! – упавшим голосом сказал Мануэль Зильбер. – Мы должны протестовать. К нам прислушаются!

– Давайте устроим демонстрацию! – внесла предложение Ривка Лиор и улыбнулась искательно.

– Нет, нет! – досадливо отмахнулся Мендель Лубоцкий. – Где ее устраивать? Перед кнессетом? Глупости!

– Нет, не глупости! – трясая головой, вмешался Ципельзон. – Перед китайским посольством! Нам хорошо, а им плохо. И мы ровесники, несмотря на национальность.

– Надо написать обращение, – нервно разъезжая по гостиной, предложил поэт Реувен Гилад. – И я скажу вам, куда: в ООН! И все подпишем!

Мендель Лубоцкий собрался было возразить, но передумал: предложение поэта всем пришлось по вкусу.

– Кто будет писать? – спросил Мендель.

– Давайте я! – сказала Ривка Лиор. – У меня почерк хороший.

– Я продиктую, – сказал поэт и решительным движением надвинул шляпу на лоб. – Сестра, бумагу!.. Пишите: «Господин Генеральный секретарь! Мы искренне возмущены положением, создавшимся в горных районах Тибета. Пожилые люди подвергаются неслыханным издевательствам со стороны своих ближайших родственников: брошенные в горах, больные и обессиленные, но еще живые, они становятся добычей хищных птиц. Мы, израильтяне «золотого возраста», выражаем в этой связи решительный протест и требуем немедленного пресечения кровавого безобразия. Завершая свой земной путь в теплой атмосфере внимания и любви, мы с содроганием следим за страданиями наших тибетских сверстников. «Уважай отца своего и мать свою» – этой нашей заповедью обязаны руководствоваться все жители планеты, и Вы, господин Генеральный секретарь, первым должны выступить в защиту человечности». Сестра, спуститесь вниз, пусть они там тоже подпишут.

– Вы им лучше сами все объясните, – уклончиво сказала сестра из-за стойки. – Сейчас кого-нибудь оттуда пригласим.

Вулодя Маркадер никогда не бывал в гостиной второго этажа. Подъем по лестнице не показался ему тяжким.

– Присаживайтесь! – услышал он, переступив порог гостиной.

Воздух в комнате был прохладен, кондиционер работал почти неслышно. Вулодя, проходя, глянул в окно. Нижние старики сидели на своих стульях, уставившись на стеклянный фасад гостиной. Вызов Вулоди наверх удивил и растревожил стариков под пальмами. Трудный выдался нынче денек: жара, камень угодил в орденосца, а теперь Вулодя Маркадера вызвали.

– Вот, пожалуйста, – сказал поэт, подъехав к Вулоде. – Прочитайте! – И протянул аккуратно исписанный лист.

Вулоде Маркадеру приятно было сидеть в верхней гостиной; он читал не спеша, шевеля губами.

– Ну и что? – прочитав, спросил Вулодя.

– Мы предлагаем вам подписать это обращение, – веско сказал Реувен Гилад. – Вам и всем вашим товарищам.

– Да нам какое дело? – пожал плечами Вулодя. – Может, у них так положено, у этих тибетцев. А мы вон третий месяц просим: поставьте тент, а то солнечный удар кого-нибудь хватит, люди-то старые, слабые... Так что ж нам – тоже в ООН писать?

– Значит, вы отказываетесь поставить свои подписи? – глядя с вызовом, спросил поэт.

– Ну, подписать можно, – согласился Вулодя. – Почему не подписать?

– В трех экземплярах надо подготовить, – сказал Мануэль Зильбер из восьмой комнаты.

Рассыльный с большим букетом гвоздик, украшенным бантиками и лентами, чуть было не сшиб Вулодю Маркадера с ног: молодой че-

ловек подымался по лестнице бегом, а Вулодя спускался с оглядкой. Нижние старики, не спускавшие глаз с лестницы, встретили столкновение озабоченно.

Распахнув дверь гостиной, рассыльный объявил:

– Цветы для господина Вайса!

Сестра перегнулась через свою стойку и произнесла негромко, но внятно:

– Дайте сюда!

– А господин Вайс где? – шагнув к стойке, спросил рассыльный. – Тут записка, видите? «Папа, счастливого дня рождения». Он где?

– Давайте сюда, – глядя поверх красиво выложенных фруктов на подносе, жестко повторила сестра.

– У нас так не полагается, – сказал рассыльный. – Только в руки, под расписку. Видите: «Уведомление о вручении переслать в Орландо, гостиница «Хайат». Номер факса. Заказ оформлен на прошлой неделе, по интернету. Грушу можно взять?

– Господин Вайс скончался сегодня ночью, – сказала сестра. – Я распишусь. – И быстрым, плавным движением убрала букет под стойку.

Конец света

В особнячке по улице Ливанских кедров, третий дом от угла, поднимались рано. Первым, в шесть утра, вставал Рувим Гутник, глава семьи и хозяин, мужчина за пятьдесят, с сильными руками и короткой мощной шеей, но уже проверяющий давление крови в две недели раз и прислушивающийся время от времени к усталому бегу сердца. Следом за хозяином послушно подымалась с коричневого матрасика собака Юка – рыжая сука доброго нрава и редкой породы, охотничьих кровей. А потом и Полина, Поля, со вздорным смешным характером, младше Рувима на шесть лет, появлялась в дверях спальни в своем бархатном, винного цвета халате и домашних китайских шлепанцах со вздернутыми острыми носами. Один только дедушка Моисей Соломонович, книголюб и в дальнем прошлом гуляка и игрок, продолжал похрапывать в своей комнате под крышей. А больше в особнячке никого не было: дети – и общие, и отдельные – разъехались уже по разным краям страны и земли и жили обособленно, по своему разумению.

Фасадом особнячок выходил на улицу Ливанских кедров, а тылом – в зеленый дворик, на ухоженную травяную лужайку с дачным столиком, в самом центре которой красиво росло серебристое масличное дерево. За белым ажурным забором, ограждавшим земельное владение Рувима Гутника, кипела стройка: там возводили дом, загорелые рабочие тюкали молотками по доскам опалубки, а бетономешалки, установленные на платформах грузовиков, рычали и фыркали. За стройкой широко растилась апельсиновая роща, там жили зайцы под темными кронами, осыпанными искрами плодов. Апельсинов оранжевых луны восходят и светят.

Умывшись и обстоятельно причесав остатки волос на угловатом черепе, Рувим спустился со второго этажа в нижнюю гостиную и, оперев задвижку, широким хозяйским движением распахнул двери, ведущие на лужайку. Прodelывал он это каждое утро – и для себя, и для Юки: ему не терпелось после тесной затемненной спальни поскорей окинуть взглядом сверкающий простор мира, а разумно охотничье животное после ночного отдыха желало ограниченной свободы для отправления естественных надобностей. Распахнув двустворчатую, похожую более на небольшие ворота дверь, Рувим по-хозяйски оглядел простор с масличным деревом, проснувшейся уже стройкой и бесконечным небом над утренней равниной и, отступив от порога, прошел в кухню включить электрический чайник. Все, что произойдет дальше, было известно Рувиму досконально: Юка вернется в дом и примется грызть свои шарики, чайник вскипит, Поля спустится сверху, со второго этажа и займется тостами и яичницей с помидорами и сыром. В семь часов придет пора уходить на службу – Рувиму в его магазинчик электробытовых товаров, приносящий, слава Богу, устойчивый доход, а Поле в почтовое управление на полставки. И в доме останутся двое: Юка и дедушка Моисей Соломонович, похрапывающий покамест в комнате под крышей. Такой устойчивый распорядок не то что нравился задубевшей за долгие годы однообразия душе Рувима Гутника, но внушал уверенность в незыблемости и правильности мирового существования.

Юка, стоя на пороге, в дверях, то ли на кого-то зарычала, то ли заскулила, и Рувим обернулся удивленно: эт-то еще что такое? Рабочие со

стройки, что ли, дразнят собаку? Прижав хвост к брюху и нагнув голову, Юка продолжала тоскливо рычать на одной ноте.

– Ну, я вам сейчас покажу!.. – пробормотал, неизвестно к кому обращаясь, Рувим и решительно шагнул к дверям.

Во дворе никого не было. Посреди лужайки, на месте масляного дерева, рос гигантский, в три обхвата ливанский кедр, острой своей короной вымахнувший куда выше крыши рувимова особняка. На мощной нижней ветви, на высоте второго этажа, сидела почему-то крупная, размером с пони обезьяна и нагло скалила отменные зубы. У Рувима опустились руки.

– Н-да... – отступив вглубь гостиной, озадаченно молвил Рувим. – Не может этого быть. – Юка боязливо вжалась к его ногам.

Тут на лестнице показалась Поля в своих китайских шлепанцах.

– Иди сюда, – строгим шепотом позвал Рувим. – Смотри!

Поля выглянула через порог, как через невидимый барьер – изогнувшись в пояс.

– Обезьяна, – сказала Поля. – Не может быть. А вдруг она из зоопарка убежала?

– А кедр? – сказал Рувим, держась на расстоянии от двери. – Из Ливана убежал?

Самым неприятным, возможно, было то, что за ажурным заборчиком не кипела теперь никакая стройка – не было там ни рабочих, ни их машин, а только суровые валуны, покрытые зеленым лишайником, и близкие снежные горы, отродясь неведомые в этих жарких библейских краях.

– Так это как же, Рува, – потухшим голосом сказала Поля. – Это что ж случилось-то...

Тут спустился нежданно из-под крыши дедушка Моисей Соломонович, храпевший в обычные дни до девяти часов.

– А то и случилось, – отпихнув внучку и с опаской выглянув наружу, сказал дедушка, – что конец света наступил. Дожили. Вон, черт на дерево залез.

На замечание дедушки Моисея Соломоновича внимания не обратили, пропустили его мимо ушей. Рувим, надев очки и повторяя, как заведенный, «сейчас, сейчас», листал телефонный справочник, а Полина, отступив к лестнице, ведущей наверх, стояла совершенно неподвижно, вцепившись в перила. Зубастая обезьяна на ветке испугала ее ужасно, и более всего ей сейчас хотелось, чтобы кто-нибудь решительный и смелый – Рувим ли, дедушка ли – закрыл дверь, отгораживающую хоть хлипко, хоть как спокойную гостиную от опасного внешнего мира. Надежды на такой мужественный подвиг было немного, поэтому она принялась убеждать себя в том, что все это ей привиделось, что нет никакой обезьяны на неизвестно как появившемся ливанском кедре – но заставить себя выглянуть наружу, чтоб убедиться в наваждении, она не могла.

А дедушка Моисей Соломонович снял с крюка вешалки зонтик и шаркающей, куда как не геройской походкой вышел из дома на волю. Подойдя вплотную к ливанскому кедру, он деликатно постучал зонтиком по его необъятному стволу и взглянул вверх, в красивые заросли ветвей. Обезьяна неодобрительно выгнулась на него, потом сунула в пасть коричневые пальцы и противно оттянула щеки. Дедушка Моисей Соломонович подумал и замахнулся на зверя зонтиком. Тогда обезьяна легким движением освободила руки и сделала непристойный жест. Дедушка снова немного подумал и засмеялся вполне искренне, а обезьяна захлопала в ладоши.

– Не так страшен черт, как его малюют, – сказал дедушка Моисей Соломонович и угодливо погрозил обезьяне пальцем.

В гостиной особнячка царил тем временем напряженная атмосфера. Говорить о неожиданных изменениях за окном было еще страшно, поэтому невысказанные горькие слова клубились, как рой мошкеры, в глубинах беспокойного существа Полины, а Рувим усердно листал телефонный справочник, в котором насчитывалось не менее полутора тысяч страниц.

– Что ты мусолишь этот дурацкий справочник? – оторвавшись от перил, сказала Полина. – Сделай что-нибудь! Ты же мужчина.

– Ну, конечно! – не отводя глаз от бесконечных колонок цифр, сказал Рувим. – Ты всегда считала, что настоящий мужчина – это тот, кто умеет чинить водопровод.

– Ах, вот как ты заговорил! – разыграла фальшивое удивление Полина. – Вместо того чтобы...

– Вот! – воскликнул Рувим, направив палец в строку справочника. – Нашел! Муниципальная служба защиты граждан от диких животных! – Он потянулся к телефонному аппарату и снял трубку. Телефон был мертв, как стол, на котором он стоял.

– Ну? – спросила Полина.

– Молчит, – озадаченно сказал Рувим. – Не работает...

– Сходи к соседям да позвони, – сказала Полина и плечом повела. – Ну, иди же!

– Сама иди, – подымаясь из-за стола, огрызнулся Рувим. – Ишь разошлась!

– Хам, – сказала Полина, впрочем, беззлобно.

Рувим пересек гостиную и подошел к входной двери, ведущей на улицу. Позвонив ключами, он отпер замок и вышел на крыльцо. Не было перед ним ни знакомых соседских домов, ни самой улицы Ливанских кедров. До самого горизонта лежала влажная степь с разбросанными по ней островками черного леса. Наискосок равнину прочеркивала полноводная медленная река в зеленых берегах. Ни людей не обнаруживалось в поле зрения Рувима, ни их строений.

Более всего в открывшемся пейзаже Рувима поразила река. Он, Рувим, знал совершенно однозначно и безоговорочно, что нет здесь никаких полноводных рек – ни одной. Такой уж получился тут изначально безводный край, и испокон веков жители этим мест воевали друг с другом из-за воды. И вдруг – река, хоть рис тут сажай, как в Индонезии.

– Река, – вернувшись в дом, мутным голосом сказал Рувим. – Там – река.

– Может, это наводнение? – с надеждой в голосе спросила Полина.

А дедушка Моисей Соломонович, постукивая зонтиком, вошел как-то боком, бочком и сказал уверенно:

– Наводнение, наводнение... Неси, Рувим, коньяк. Наливай, а то что ноги зябнут. И обезьяне этой чертовой нальем стопку.

Рувим достал из бара бутылку бренди и пару винных бокалов и налил.

– Держите, дедушка, – сказал Рувим. – Ну, что там? – Он кивнул в сторону лужайки, как в сторону линии фронта. – Эта сидит?

– Сидит, куда денется, – чуть сварливо, как о хулигане-родственнике, позорящем репутацию семьи, сказал дедушка Моисей Соломонович. – Он пока смиренный, не кидается.

– Почему «он»? – придвигаясь поближе к старику, озадаченно спросил Рувим. – Это ж обезьяна.

– Черт это, – высказал уверенность Моисей Соломонович. – Ты на него только погляди – глаза человечьи, как у татарина.

– А там – река, – сообщил Рувим, указывая на окно, ведущее на улицу.

– Река? – с долею недоверия в голосе переспросил дедушка Моисей Соломонович.

– Да, река, – скорбно кивнул головой Рувим.

– Ну, река так река, – сказал дедушка и допил последние капли из бокала.

– А вам не страшно? – шепотом, как о тайном, спросил Рувим. – Все это – река, и мы совершенно одни в какой-то степи...

– Ну, одни, ну, река, – сказал дедушка Моисей Соломонович. – Человек не собака, человек ко всему привыкает. А чем тебе река хуже пустыни? Ведь пока нас никто не убивает!

– Магазины, наверно, все закрыты... – подойдя, высказала предположение Полина. – И продуктовые, и все.

– Где ты тут видишь магазины? – взбеленился Рувим. – Можешь ты, наконец, понять: мы отрезаны, от-ре-за-ны от всего!

– Конец света пришел, – дедушка Моисей Соломонович подмигнул зятю повеселевшим глазом и придвинул к нему порожний бокал. – Давай, лей!

– Ну, взялся за свое! – глядя, как веселится дедушка Моисей Соломонович, сварливо заметила Полина. – Хоть бы постыдился клюкнать-то! Старик ведь уже!

На замечание внучки дедушка не обратил ни малейшего внимания, как будто муха пролетела в другом конце комнаты.

– Опынеете, а потом что будет? – не успокоилась Полина. – Сейчас, когда надо сохранять трезвую голову...

– А зачем? – справился дедушка Моисей Соломонович. – Трезвую – зачем?

– Что-то она разошлась! – обращаясь к дедушке, строго подметил Рувим, а потом обернулся к жене: – Эй, ты! Чего это ты разошлась? А ну, замолчи! И неси завтрак!

Полина окаменела, не поверив своим ушам: за без малого двадцать лет счастливого брака Рувим впервые сказал ей «эй, ты!» Да и «замолчи», пожалуй, она от него никогда прежде не слышала.

– Ах, так, – доставая яйца и сыр из холодильника, сказала Полина.

– И это ты мне смеешь говорить – ты, который мне всю жизнь исковеркал...

Это было что-то новое – насчет исковерканной жизни, и Рувим разведочно взглянул на дедушку Моисея Соломоновича. Дедушка взгляд перехватил и беззаботно пожал плечами. Мало ли что женщине взбредет в голову! Мели, Емеля, твоя неделя... Рувим уже привык за два десятка лет и почти перестал обращать внимание на эти вечные полинины «ты – лучше всех», «у тебя самая лучшая голова», «ошибаться ты просто не умеешь». Имелось в виду и электроинженерное, еще до иммиграции в Израиль, прошлое Рувима Гутника в городе Кривой Рог, и его коммерческое настоящее в городе Кирьят-Оно. Рувим знал, был уверен, что есть на свете и поумней его люди, и покрасивей, – но пускаться в спор с женой не желал: Полина стояла на своем с твердостью, достойной лучшего применения. Поэтому внезапное откровение насчет исковерканной жизни озадачило Рувима – прежде само это мясорубочное какое-то понятие всецело относилось к первому полининному браку, неотступно маячившему где-то позади. О бывшем муже – горном каком-то гоге и красавце, умевшем замечательно жарить шашлык – Рувим выслушал немало интересных историй, вольно размещавшихся в сказочном прошлом, мебелированном красивыми озерами и горами и украшенном пирами с праздничной стрельбой и верховыми скачками в разных направлениях. Горный гоги, как следовало из полининных, чуть тронутых романтической ностальгией рассказов, о хлебе насущном для себя и для своей молодой жены не задумывался никогда – все необходимое, как бы с неба свалившись, оказывалось на нужном месте, под рукой: и баран в венчике из изумрудной киндзы, и ископаемое изумрудное ожерелье из запасника краеведческого музея, не говоря уже о «жигулях» и каменном родовом гнезде с деревянным сторожевым мезонином... С небес, как известно, редко что падает, кроме града да птичьего дерьма, – поэтому полночную горную жизнь внучки Поли дедушка Моисей Соломонович уверенно объяснял особенностями характера красавца-гога: «Разбойник с большой дороги». Союз горного льва и низинной овечки носил сезонный характер: с наступлением зимних холодов горячие обещания и ветвисто составленные клятвы увяли и зачахли, делать было нечего и углубленная в себя Полина была посажена в поезд, катающийся под горку, в низинные края. Помимо главного подарка – живой горной луковки, не по дням, а по часам набухающей и набирающей силу в полининном бархатном чреве, в купе были щедро сложены и другие памятные подарки: тяжелая, как дверь, белая бурка, сапоги-ичиги для исполнения горных танцев, четыре пары пестрых шерстяных носков ручной работы, полосатый конский рюкзак под названием «курджун», белая сванская шапочка на черном шнурке и завернутая в чистый головной платок вяленая баранья нога. Ископаемое изумрудное ожерелье, к сожалению, было решительно изъято из груды подарков разбойной рукой горного красавца, не пожелавшего в последний момент навсегда расстаться с реликвией своего маленького, но зато чрезвычайно гордого народа.

Рувима эта горная эпопея не занимала ничуть. Ну, было, ну, проехало. Сам Рувим был человеком сугубо низинным, хотя и у него, как говорится, случались в жизни встречи...

– Это я тебе исковеркал жизнь, – скептически улыбаясь, повторил Рувим слова жены и налил в придвинутый дедушкой винный бокал бренди «777». – Я! Я, который, по существу, дал тебе все: дом, положение, службу на полставки. Которого не смутило твое прошлое!

– Прошлое? – глухо и грозно, как из вулкана, донеслось из нежных полининных недр. – Какое-такое прошлое? Я могла, как тебе известно, стать актрисой – а осталась никем, потому что вышла замуж за неудачника, за инженеришку. Ну, что ты пьешь с утра? Иди, торгуй в свою жалкую лавчонку!

Дедушка Моисей Соломонович глядел в сторону с большим безразличием, а Рувим удивленно и отчасти даже встревоженно пожал плечами: о несостоявшейся артистической карьере жены он слышал впервые.

– Где она, моя лавчонка! – сказал Рувим и махнул рукой. – Покажи хоть где!

– Нет, ты меня изволь выслушать! – продолжала Полина на более высокой ноте. – Сегодня, когда, когда... я тебе все...

Рувим, взяв бутылку бренди за тонкое горло, со вздохом поднялся и за стола и вышел на лужайку. Дедушка Моисей Соломонович с бокалами попевал за ним, как катер за крейсером. На лужайке не произошло никаких перемен. Обезьяна угрюмо помещалась на ветке, как буд-

то эта ветка всегда была ее местом жительства, а ливанский кедр приходился ей унылой родиной.

– Я боюсь, дед, – отхлебнув из горлышка и протягивая бутылку Моисею Соломоновичу, сказал Рувим. – Я страшно боюсь...

– И я тоже, – откликнулся Моисей Соломонович. – Может, до завтра доживем...

– Гляди, Полина как выступает! – как бы между прочим заметил Рувим.

– Она тоже боится, вся дрожит, – рассудил дедушка и сделал мелкий глоток.

– Полный финиш, – вздохнув, сказал Рувим. – Все. А мы еще почему-то сопим, вот что странно...

– Я когда-то то ли кино такое смотрел, то ли книжку читал, – сообщил дедушка Моисей Соломонович, – «Момент истины» называется. Про то, как все вдруг решили говорить правду, только правду и ничего, кроме правды – и такое напели! Вот и сейчас так получается...

Полина, неизвестно зачем, выглянула из дома на лужайку и недобро взглянула на двух мужчин, стоявших под ливанским кедром. Рувим, желая разрядить немного атмосферу, смешливо вытянул толстую шею и сказал «ку-ку!» Полина, однако, не улыбнулась, а обезьяна с ветки гневно взглянула.

– Давай выйдем отсюда, – предложил Рувим. – А то с ума сойдем...

Дедушка Моисей Соломонович с готовностью пошлепал вслед за Рувимом через гостиную к двери.

– Палку возьми, – посоветовал дедушка. – На всякий случай.

– Ну да, – легко согласился Рувим. – С гвоздем... От кого отбиваться-то?

Они вышли на крыльцо и спустились по лестнице вниз. Тротуара теперь не было, но травяное поле, подступившее вплотную к рувимову особнячку, оказалось вполне пригодным для передвижения пешим ходом. Возможно, в невысокой сочной траве скрывались змеи и другие неприятные животные, но думать об этом не хотелось: солнце светило любезно, да и «777» сделали свое доброе дело.

– Далеко не пойдем, – твердо сказал Рувим, как будто дедушка Моисей Соломонович уговаривал его и тянул отправиться отсюда и прямо сейчас на Южный полюс. – Просто немного прогуляемся.

Но и прогуляться не пришлось со спокойной душой. В ста метрах от особнячка, из-за аккуратного взлобчка появилась молодая пара – парень в эластичных спортивных штанах и привлекательная барышня с пупком наружу, с подсолнушком за коричневой бархатной ленточкой соломенной шляпы. Рувим и дедушка настороженно остановились. Вежливо остановились и встречные и глядели по-добрососедски.

– Доброе утро, – неуверенно сказал Рувим, не трогаясь с места.

Тогда парень отставил мускулистую ногу и пропел сахарным тенором:

– Двадцать восемь – сорок шесть – тридцать девять – восемнадцать!

А барышня, с казенной улыбкой глядя на оторопевших встречных, напрягла загорелый животик, привела диафрагму в должное состояние и поддержала своего музыкального кавалера сильным и чистым дискантом:

– Цать! цать! цать!.. Сто четырнадцать-цать! Восемь сорок – три пятнадцать – сорок восемь – тридцать пять.

Дедушка Моисей Соломонович вопросительно поглядел на Рувима, а потом полуотвернулся от артистов и деликатно сплюнул в траву. Барышня ему понравилась.

– Вы теперь тут живете, – с искательной улыбкой задал вопрос Рувим. – Соседи?

Тенор снова отставил ногу, подрождал плотной икрой и пропел:

– Три – четыре – сто семнадцать – двести шесть – четырнадцать!

– Цать! цать! цать! – немедля поддержала милая барышня.

На сильные музыкальные звуки из-за взлобка, как из-за кулис, вышел грудастый хмурый бык, на его широкой и плоской спине помещалась совершенно уже голая девка. Она лениво там лежала, опершись на локоть и уложив подбородок в чашку ладони. Пшеничные ее волосы были неряшливо распущены, а округлое простоватое лицо выражало скуку. Тенор, обернувшись, поглядел на быка и его ношу безразлично, как на кошку.

– Ну, мы пойдем... – сказал Рувим и попятился, не сводя круглых безумных глаз с бычьей девки. – Извините...

– Тридцать пять – сорок четыре! – наклонив голову к плечу, прожурчал тенор, а барышня его преданно поддержала своим дискантом:

– Тыре-тыре-тыре!

Возвращались молча, не оглядываясь. Уже на крыльце, перед самой

дверью, Рувим сказал «ну и ну», покачал головой и вытянул губы дудкой. Делать было нечего.

Полина сидела за столом, грызла сухарь с рокфором.

– Что ж ты маску свою не мажешь? – цепляясь, спросил Рувим и указательным пальцем обвел вокруг лица, показывая, каким образом и где Полина ежеутренне устраивала противоморщинную маску из какой-то коричневой дряни.

– Не думай, что я такая идиотка, – не дала прямого ответа Полина, – чтобы с тобой связываться и тебе вообще отвечать. Подлец! Ты разрушил мою жизнь! Я тебя просто ненавижу! Я тебе все скажу, все, прежде чем... – и всхлипнула, покрывив красный рот в сырных крошках.

– Там соседи цифрами поют, – сообщил дедушка Моисей Соломонович.

Полина взглянула недоверчиво, а потом сказала:

– Ты еще выпей, алкоголик.

Рувим не слушал. Он решительно, размашистыми шагами прошел на лужайку с кедром, а дедушка потащился за ним. Усевшись за дачный столик, он неприязненно взглянул на обезьяну над головой и сказал:

– Может, поесть ей дать что-нибудь?

Дальше такого хорошего намерения дело не пошло: не собачьими же шариками ее кормить, да и подходить страшно. Глядя на обезьяну, на ее сильные опасные руки Рувим растроганно подумал о том, как хорошо было бы сейчас по-хозяйски приласкать какое-нибудь преданное животное, родную какую-нибудь четвероногую душу – и свистнул Юку. Собака, стуча когтями по полу, послушно добежала до порога и остановилась, как будто уперлась в стеклянную стену. С опущенной головой и поджатым хвостом она и не собиралась выходить из дома и глядела на хозяина виновато.

– Ну, иди! – сказал Рувим. – Я тоже боюсь!

Собака дрожала и не двигалась с места. Рувим отвернулся и забыл о ней.

Приятное оцепенение пришло к Рувиму, он ощущал необременительное опустошение сердца и был равно готов и к дальнейшей жизни, и к немедленной смерти. Он не сожалел больше о том, что исчезла неизвестно куда строительная площадка за забором, с ее привычным уже созидательным шумом и привезенными из Румынии чернорабочими. Он обреченно не думал о будущем с его отвратительным завтрашним днем – а только о теплом прошлом, и ему хотелось плакать. С облегчением и благодарностью он отметил, что нет Полины в этом прошлом и нет ничего, что напомнило бы ему о Полине. А обнаружилась там, в священной голубой глубине, девушка Клава Фефелкина, с тяжелой шаткой грудью, крупная и крутого замеса, с простоватым округлым и добрым лицом. Эта Фефелкина встретила когда-то, в незапамятные почти времена, в октябрьский золотой и высокий день тощему студенту Рувиму Гутнику то ли в какой-то нищенской столовке, то ли на площади Трех вокзалов, куда она прибыла то ли из Иванова, а то ли вообще из Кривого рога. И они были вместе, по молодому и милому делу, шлялись по осенним улицам, ели и спали, глазели по сторонам и находили темы для ненавязчивого бегущего разговора. Они сошлись, вошли друг в друга на отрезочное недолгое время, а потом распались на всю оставшуюся жизнь. Она и имени его не могла толком выговорить, и звала – Роман, Рома... И вот теперь, сегодня, в день конца света он вспомнил почему-то именно эту деревенскую деваху, заворачивавшую мыло на какой-то заштатной фабрике, и имя ее вспомнил, почти стершееся в ряду других, как бы случайных имен. Наивная бессеребrenница, вспоминал и думал Рувим, всегда благодарная, а характер какой – просто золотой. И никак ведь уже не вспомнишь, почему у них ничего не вышло, о какой камень они споткнулись, – да это сегодня уже и не важно.

– Я сейчас вспомнил одну, – глядя в стол, тихонько сказал Рувим дедушке Моисею Соломоновичу, – девушку одну, Клаву. Легкий она была человек... Где она теперь, что...

– У меня тоже гойка была, – охотно сообщил Моисей Соломонович, – в Екатеринославе, еще до покойной Славы Мироновны. Это был праздник, это была любовь! Если б я тогда на ней женился, может, все пошло бы по-другому...

Да, с горечью подумал Рувим, да-да. Если б ты, старый хрыч, женился на той гойке, а не на Славе Мироновне, то и никакая Полина не появилась бы на свет Божий и, таким замечательным образом, ему, Рувиму, не пришлось бы жениться ни на какой Полине. Вот так, из ничего, из дурацких каких-то случайностей, и происходят ужасные катастрофы. А что, разве женитьба на Полине и вся последующая жизнь, выброшенная козе под хвост – не катастрофа? А то, что сейчас, перед самым концом света, когда каждая минутка может стать последней, – они с Поли-

ной, с этой манерной идиоткой, расположены как бы на разных концах жизни, они не вместе, они не составляют одно душевное целое, как когда-то с Клавой Фефелкиной – разве это не катастрофа?

– Самое интересное, что она всегда врет, – подумав, сказал Рувим. – Всю жизнь врал. Или выдумывала: несла всякую чушь, и ей казалось, что это правда. А я слушал, дурак.

– Да, прошла жизнь... – беспечно сказал дедушка Моисей Соломонович, и с этим нельзя было не согласиться.

Собака Юка завела в доме, вой был жуток. Рувим огляделся. Обезьяна, задрав тесную башку, глядела в небо. Там, в небе, как распылителем по потолку, размашисто писали цифру за цифрой, в ряд: 6, 1, 0, 1, 9, 6, 1.

– Пишут... – поглядывая из-под белых бровок, уважительно сказал дедушка Моисей Соломонович и потянулся за бутылкой неверной рукою.

Обезьяна с кедра наблюдала за небесной работой неодобрительно, сунув нечистый палец в рот.

– Буквы куда лучше цифр, – мертвым голосом сказал Рувим. – Я всегда так думал. А вышло все по-другому...

Полина, пряча руки за спиной, возникла на пороге, взглянула на небо, на черные цифры и устало поморщилась.

– Как бы там ни было, – сказала Полина, – имей в виду: мы чужие. Да, сейчас надо говорить правду. Так вот: ты – ничтожество, неудачник и вообще импотент. Я совершила страшную ошибку, когда пошла за тобой замуж. Но можешь не волноваться, ты свое получил. У тебя рогов больше, чем волос на голове. – Она высвободила из-за спины руку с зеркальцем. – На, смотри! – Рувим взглянул, хмыкнул удовлетворенно.

– Где только охотники нашлись! – сказал Рувим. – Дичь-то с вонцой!

Полина вздрогнула, как будто к ее спине приложили кубик льда, повернулась на пятках своих китайских шлепанцев и вернулась в дом. Поднявшись наверх, она заперла дверь спальни на ключ, села к окну и заплакала, бормоча и подвывая. Какой подлец! «С вонцой!» Сквозь слезы небо в цифрах казалось зыбким, как море. Сочетание плывущих цифр вдруг дошло до ее сознания, она перестала всхлипывать и успешно вытерла глаза мягкими подушечками пальцев. 610-19-61. Номер телефона Бори.

Раньше, до иммиграции, Боря Белый был артистом вышневолоцкого ТЮЗа, человеком богемы и замечательно высокого полета. Здесь он устроился сторожем в механическую мастерскую, но душа его от такой резкой перемены жизненной атмосферы ничуть не задубела и не зарубела, он остался тем же игровым легким человеком и высота его полета не снизилась ничуть. В Полине он обнаружил родственную душу – немного загнанную, но открытую настежь в ожидании приятного чуда.

Они познакомились случайно, где-то. На исходе первого часа знакомства Полина уверилась в том, что Боря – полная и совершенная противоположность Рувима с его инженерскими шуточками, с его патологической любовью к гороховому супу, с его диким ночным храпом. Особнячок и лужайка – это, несомненно, хорошо, это лучше, чем квартира и балкон, но Рувим своим присутствием, своим существованием окрашивал все в серые тона. А Боря Белый был весь разноцветный, как радуга... Много вопросов задавала себе Полина: на сколько лет Боря младше, есть ли у него другая любовница, был ли он женат когда-нибудь. Один только вопрос не догадывалась задать Полина: на кой черт она, Поля Гутник, в девичестве Просная, немолодая и сварливая женщина, понадобилась разноцветному Боре? А Боря похотывал, обнимал за плечи и лез за пазуху, и на море с ней ходил, и деньги брал.

Но случались и другие, до Бори. И во всем виноват был Рувим.

Но теперь все кончено. Совершенно все. Конец света? Ну, что ж, пожалуйста. Лучше уйти из этой жизни свободной, чем подневольной и стреноженной. Этот Рувим, этот пьяный идиот, просто не понимает, что они уже чужие друг другу люди, что они больше не муж и жена. Она свободна. Обидно только, что Боря об этом никогда уже не узнает.

Время поворачивалось ни шатко ни валко и трудно было прикинуть, сколько привычных часов прошло с утра. Однако и застывшим время назвать было никак нельзя: солнце по исписанному цифрами небу двигалось не быстрее и не медленнее, чем в обычные дни, и перевалило уже, как будто, зенит. Западный ветерок дул с моря приятными порывами. Птиц не было слышно, но крылатые твари испокон веков не злоупотребляли пением в этих местах.

На ливанском кедре, на лужайке, крупная лазоревая птица со стальным отливом, с красной грудкой и белым шелковистым хохолком на голове появилась нежданно-негаданно и вначале была не замечена си-

девшими за столом, за второй уже бутылкой бренди Рувимом и дедушкой Моисеем Соломоновичем. Обезьяна оказалась наблюдательней: завидев птицу, она вкатила голову в сильные плечи и погрозила пернатой мореным кулаком. Птица, однако же, ничуть не испугалась. Вертась на ветке, невысоко над обезьяной, она принялась прихорашиваться, а потом, приняв напряженную позу, обронила крупную, величиной с лесной орех, каплю. Капля пролетела мимо обезьяны, проводившей ее угрюмым взглядом, и шлепнулась на стол меж Рувимом и дедушкой Моисеем Соломоновичем. Мужчины задумчиво поглядели на каплю и – враз – подняли глаза вверх.

– Что за птица... – сказал Рувим. – Тут таких раньше не было.

– Птичка хорошая, – оценил дедушка Моисей Соломонович. – Только дерьмом вот кидается. Хорошо, что не в стакан.

– Не было, не было, – повторил Рувим и пожал плечами.

– Раньше много чего не было, – согласился дедушка Моисей Соломонович.

Полина показала на пороге, глаза ее были заплаканы.

– Обедать давай, – сказал дедушка. – А то ждем-ждем, а есть-то хочется.

Полина открыла уже рот, чтобы сказать Рувиму все, все. И про Бору Белого, и про Антона Марковича, и про немедленный развод, – но Рувим смотрел отрешенно вверх, мимо птицы, над которой, выше кроны кедра, было натянуто небо в цифрах. 6101961. 6.10.1961. 6 октября 61. День, когда он встретил Клаву. Клаву Фефелкину.

Полина повернулась и ушла. Дедушка Моисей Соломонович смотрел ей вслед с дурацкой улыбкой, покачивая головой, а Рувим не заметил ни прихода ее, ни ухода. Вернувшись в дом, Полина достала из холодильника кусок рокфора, села к столу и, отщипывая кусочек, принялась жевать без азарта. Шар неотпускающего страха висел над ее головой, она уже не думала ни о Рувиме, ни о Боре Белом – а только о неизбежной тоскливой смерти, которая вот-вот придет. Крошки подсохшего рокфора падали на грудь ее халата, она не стряхивала их. Хотелось плакать, всхлипывать. Подошла собака Юка и положила теплую голову ей в колени.

Смерклось рано, тьма без луны и звезд накрыла особнячок на улице Ливанских кедров. Людям в доме не о чем было говорить между собой, они урывками вспоминали прошлую жизнь, и горечь заливала их память. Ничего не было сделано в их жизни, никакое дело не было закончено. Спать разошлись каждый в свой угол и заснули, уткнув лица в подушки.

Их разбудило рычанье бетономешалок на стройке. Рувим, волоча ноги, подошел к двери, ведущей во дворик, и приоткрыл ее. Не было на лужайке никакого кедра, и обезьяны не было видно. На дачном столе стояли две порожние бутылки из-под бренди, между ними серела лепешка подсохшего птичьего помета. Собака Юка проскочила мимо Рувима на волю и взялась бегать вокруг масличного дерева. За белым ажурным забором загорелые рабочие тюкали молотками по звонким доскам опалубки. Полина в халате и китайских шлепанцах спустилась из спальни, а дедушка Моисей Соломонович спал у себя наверху.

– Давай, давай, Рува, – сказала Полина. – Доброе утро. Садись, ешь. У тебя есть бензин? Подбрось меня до работы.

– Ну, конечно, – сказал Рувим. – Одевайся быстрее. У меня сегодня дел выше головы.

Начался новый день, очередной.

Бесполезные ископаемые

– Человечеству дан шанс, – сказал Артем Каратута и пристально, словно бы в прицел автоматической винтовки М-16, взглянул на Рувима Веселовского из-под рыжих с проседью бровей. – Если мы все друг друга не передавим и не передошим, то к концу спектакля под названием «Жизнь на Земле» все же успеем надеть галоши и убраться отсюда куда-нибудь в созвездие Гончих Псов.

Уставившись на высокую, украшенную художественно заколоченными гвоздиками луку своего горного седла, Рувим внимательно выслушал обещание Артема. Они ехали рядышком по каменистой натопанной тропе – не то чтобы старики стариками, но люди пожилые, ближе к семидесяти, чем к шестидесяти; вот и судите сами. Их кованые стремени, встречаясь, позвякивали, лошадки под ними спокойно шли, наставив уши торчком. После ухода большевиков волки, обильно здесь расплодившиеся на свободе, держались поближе к овечьим урочищам, за лесистым хребтом, в стороне от этой голой долины.

– Ты думаешь? – спросил Рувим. – Может, пронесет?

– Нет, – отвел надежду Артем Каратута. – Конец на всех один.

– И когда? – разведал Рувим.

– Вот этого сказать не берусь! – голос Артема звучал грустно, отчасти даже траурно. – Нет, не берусь.

– Тогда хорошо, – сказал Рувим. – Мы живы, Артем, лошади идут ровно, а замысел Главного Конструктора неведом совершенно никому. Мы даже не знаем, доберемся ли до Ак-Топоза или нет. А ты говоришь «конец света».

До кишлака Ак-Топоз – полсотни кибиток вдоль ручья, в арчевой рощице – оставалось еще часа два конного ходу. За кибитками и за ручьем, руку подать, начинался Китай. Туда, в Кашгар, можно было верховом проехать без хлопот – по козым тропам, в обход пограничных постов. И ездили, кому надо. А кому надо? Тому, кто терял вез с Большого озера или гурт баранов поменять с уйгурами на порох и охотничью дробь, или муки и соли прикупить на зиму, на тощие месяцы.

В этом Ак-Топозе, в кибитке, проживала уже который год Лейла Куртовна, вдова Джаныбека, суфия.

Суфий раньше был театральным драматургом и жил, что называется, на два дома: то в Москве, то у себя в Кокмаке. Когда большевиков прогнали, пьесы Джаныбека сошли со сцены, доходы его скатились к нулю. Действительно, спектакли о том, как тянь-шаньские колхозники бросили перчатку американским империалистам и взялись обгонять их по поголовью баранов, стали никому неинтересны и даже противны. Принужденный новыми обстоятельствами к бытовому ежедневному аскетизму, Джаныбек крепко задумался над вопросом несправедливости нашей жизни. Когда современный человек начинает испытывать душевное беспокойство, он обращается либо к психоаналитику, либо к Богу. Вот и Джаныбек пошел в мечеть, расположенную здесь же, за углом, в трех шагах от улицы Амангельды. Причем тут Амангельды? А при том, что именно на этой центральной, засаженной пирамидальными тополями кокмакской улице, в доме №34, Джаныбеку дали трехкомнатную квартиру с балконом-лоджией – сразу после того, как он получил в Москве всесоюзную литературную премию Ленинского комсомола «Красная гвоздика», как раз за пьесу про тянь-шаньских колхозников и их дерзкий вызов зарвавшимся заокеанским ковбоям. А до этого он жил в съемном домишке на окраине города – молодой, подающий надежды писатель-драматург. Нацкадр.

Спаси меня Бог от того, чтоб приписать поход Джаныбека в мечеть обиде на новую демократическо-рыночную власть, пришедшую на смену старой советской. Лауреат литературной премии знал точно, что обижаться на власть предрержающую ни в коем случае нельзя и невозможно, потому что это чревато большими неприятностями, вплоть до посадки. Разувшись у порога в молельное помещение и машинально прикинув, что, по выходе оттуда на волю, вполне крепких еще ботинок можно и не досчитаться, Джаныбек шагнул в полутьму зала, застланного войлочными кошами.

Первый поход в мечеть ничего не изменил, несправедливость не отпустила, неприятные мысли по-прежнему теснились в голове. Но там, на людях, Джаныбек не испытывал такой глгучей тоски, как в четырех стенах, дома. В молельной комнате его темное настроение разливалось поровну на целую сотню скрючившихся на полу мусульман, а не упиралось, как прокуренным пальцем, в одинокую жену Лейлу Куртовну.

– А я в мечеть ходил! – с вызовом сообщил Джаныбек жене.

Жена Лейла Куртовна укоризненно сидела в углу столовой, в вытертом до матового блеска кресле. Сообщение о том, что муж ходил в мечеть, ее не удивило. Партийный обком разогнали, драмтеатр закрыли – куда ж ему оставалось идти? В синагогу, что ли?

– Завтра сходи туда пораньше, – сказала Лейла. – Может, талоны на гуманитарку дадут.

Гуманитарную помощь прислали то ли из Кувейта, то ли откуда-то из Йемена, и финики в красивых коробках с верблюдом и целлофановым окошечком сразу появились на базаре: подарки единоверцам, не откладывая дела в долгий ящик, деловые люди украли прямо на таможене. Но малая часть, говорят, чудесным образом уцелела, и ее распределили по мечетям.

– Дело не в талонах, – сказал Джаныбек. – Хотя финик, конечно, святая ягода. Ее сам пророк Магомет ел каждое утро по одной. И хватало на весь день.

Высказавшись, Джаныбек задумался: что бы такое и ему раз в день проглотить, чтоб до вечера есть не хотелось.

– А ты пьесу про это напиши, – внесла предложение Лейла Куртовна. – Про финики. Может, подойдет. И что-нибудь заплотят.

Лейла по натуре своей была совершенной бессребреницей. А то, что еще недавно, когда муж успешно сочинял пьесы про своих баранов и козлов, и время было сырное и масляное, и отношения между супругами накатанные – так это ж бытовое. В конце концов, зубы сосать надоест и самому продвинутому аскету, пусть даже он, как Джаныбек, будет выпускником Высших литературных курсов с красным дипломом. Так что Магометов финик тут бы пришелся очень даже кстати.

Но не было и финика. Джаныбек, повадившийся ходить в мечеть и вести там очистительные разговоры, готов был отказаться от многого ради душевного просветленья. Отказываться было легко, потому что у него ничего уже и не осталось от прошлого достояния: ни денег, ни славного почета. Сохранился в бархатной коробочке лауреатский значок «Красная гвоздика», и он с радостью обменял бы его на пол-литра хлопкового масла – но никто не соглашался менять. К торговой деятельности Джаныбек никак не был приспособлен, и самоограничение, начиная с необходимого для жизни набора пропитания, возникло и утвердилось в трехкомнатной квартире на Амангельды как бы само собою. В такой принудительной аскезе бывший драматург не желал видеть тропинку, прямою ведущую к голодной и холодной смерти, и себя на этой тропинке – неудачника и голодранца, да вдобавок еще и руку об руку с супругой Лейлой Куртовной. Вдохновенный суфий в черном плаще из козьей шерсти, с плетущейся следом молчаливой женой, выглядел куда сценичнее и привлекательнее. Но разгуливать в таком виде по городу, среди бела дня и на глазах у многочисленных знакомых, было бы неразумно: странное поведение вчерашнего драматурга и депутата горсовета и его жены могло быть истолковано как вызов и завело бы обоих в приемный покой психиатрической лечебницы.

Два месяца спустя после первого посещения мечети, следуя советам обкатанного жизнью муллы, Джаныбек обменял – с существенной все же приплатой – свою городскую квартиру на кибитку в кишлаке Ак-Топоз. В квартиру въехал племянник муллы и зажил там счастливо и привольно, а суфий Джаныбек, не отягощенный никаким имуществом, кроме мешка с кухонной утварью и клеенчатой клетчатой сумки с богословской литературой суфийского направления, отправился на границу с Китаем, в кибитку. Лейла, действительно, плелась вслед за супругом, шагавшим не оглядываясь и дрожавшим под своим козым плащом от порывов высокогорного ледяного ветра.

В кибитке, на берегу неиссякаемого ручья, время утратило свои привычные очертания и текло беспризорно: дни больше не складывались в месяцы, а месяцы в годы; это было ни к чему. Но лето все же приходило на смену зиме.

Посреди лета Джаныбек умер в своей кибитке от укуса скорпиона и был предан земле по мусульманскому обычаю.

И хватит об аскезе Джаныбека.

Лейла Куртовна, вдова, оказалась в ак-топовозской кибитке, на краю земли, в неинтересном положении: покойный муж, со всеми его странностями, служил ей какой-никакой, а привычной все же опорой в жизни. Без него в доме и в мире было и пусто, и скучно. Слава еще Богу, что прокорм женщине обеспечивал огородик при кибитке – тощие грядки, на которых за короткое лето успевала кое-как вырвать картошка да лук, а разложенная на мелкие горстки квартирная доплата, полученная от племянника муллы, тянулась из культур-мультирного городского прошлого по сию пору, и денег, с грехом пополам, хватало на муку, соль и керосин.

Сидение в кибитке, на берегу ручья, не было приправлено никакими интересными событиями. Время, как серебряный туман, стлалось над землей, в нем отчетливо, вплоть до поблекших деталей, было различимо лишь прошлое. Это прошлое не казалось Лейле уходящей назад и уменьшающейся до размера светящейся искорки дорогой. Прошлое было похоже на плоский, в резной золотой раме, живописный холст на стене, на котором можно было без всякого труда и усилия перекрасить в другой цвет фигуры, передвинуть их с места на место, пририсовать новые или вовсе стереть. Это прошлое принадлежало Лейле всецело и безраздельно, она могла там делать что угодно без всякого вреда для текущей жизни: наводить порядок или устраивать кавардак. Вспомнившись в прошлое, Лейла разглядывала там многолюдную свадебную пирушку, неудачную беременность и аборт, поставивший точку на надежде о детях, и свое детство, до которого можно было легко дотянуться ладонью и погладить его, как котенка или щенка. И красивая мама там находилась – театральная прима с полным золотых зубов

ртом, и старший брат, уехавший за границу, как только это стало возможным и растворившийся, как сахар в чае, то ли в Новой Зеландии, то ли в Бразилии – кто знает... День свадьбы Лейла высвечивала и разглядывала на своей картине частенько и, глядя на Божий мир через покосившееся оконце кибитки, улыбалась как бы неизвестно чему – а улыбалась она и свадебным гостям, и, особенно, тому смешному случаю с курами. А случилось тогда – ох-хо-хо! – вот что. За день до свадьбы Джаныбек принес с базара пяток кур-пеструшек и выпустил их во двор домишки, который снимал на зеленой окраине города. Этим натуральным курам, что клюют по зернышку, а не жиреют денно и нощно на птицефабрике, при электрическом свете, предстояло быть зарезанными, зажаренными и поданными на праздничный стол. Рубить курицы головы вызвался друг и товарищ жениха – московский писатель Миша Дворкин, специально прилетевший на свадьбу смиренного Джаныбека, который в причинении смерти дальше мухи не шел никогда.

Здесь, во дворе домишки, помещалась и овечка – в глубине двора, в тесной огорожке. Овечку привезли на свадьбу сельские родственники Джаныбека с его родины, из кишлака Сарыкол. Завидев овцу, московский Миша проявил полную готовность зарезать, помимо кур, и ее, хотя не скрывал, что практического опыта в этом деле был лишен совершенно. Недолго поразмыслив, Джаныбек решил на всякий случай не рисковать, а лучше пригласить специалиста с ножиком. В ожидании свадебного казана овечка переступала ногами в своей огорожке, ее унылый нос свешивался из шерстяных зарослей. Вот уж действительно в чужом пиру похмелье.

Другое дело куры. Те беззаботно прыгали по двору, постукивая каменными носами по сухой земле, и не обращали никакого внимания на приезжего Мишу, метавшего на них время от времени охотничьи взгляды. Около полудня час пробил: Джаныбек принес из кладовки плотницкий топор, утер рукавом паутину и пыль с покрытой пятнами ржавчины стальной лопасти и протянул Мише.

– Так их поймать еще надо! – резонно заметил москвич, небрежным движением принимая орудие убийства.

– Поймаем! – махнул рукою Джаныбек. – Куда они убегут!

Бежать курам и вправду было некуда: дверь в дом закрыта, в щель под воротами не протиснуться. Улететь бы прочь – да крылья не те... Но при приближении людей птицы проявляли беспокойство, потерянню кудахтели и бросались враспыльную. Схватить их на бегу было не просто, но азарт преследования овладел Джаныбеком и его гостем: ловцы, растопырив руки, словно бы намеревались взлететь в небеса, бегали по двору, а куры метались, как угорелье, между забором, домом и уборной – дощатым скворечником на отшибе, с окошечком в виде сердечка на приоткрытой хлипкой дверце.

И вот тут-то грянуло событие. Загнанные куры, растянувшись в цепочку, вбежали, как по приказу командира, в туалетный скворечник, и одна за другою, вся пятерка, прыгнули «солдатиком» в окошко на загаженном полу. Теперь их кудахтанье доносилось до ушей озабоченных ловцов приглушенно, как из преисподней.

Не опускать руки! Кур – оттуда выгнать! Но как? Сказать куда легче, чем сделать... Действительно – как? Тут на призадумавшихся птицеловов напал неудержимый приступ смеха, хотя радоваться, строго говоря, у них не было причины. Хозяин и его московский гость хохотали до слез, углом сгибаясь в поясе и хлюпая себя руками по лямкам. Остановить их безудержное веселье не представлялось возможным. А куры тем временем подавленно клекотали в своей темнице.

Привычному к провинциальным неудобствам Джаныбеку пришла в голову спасительная мысль: открыть люк выгребной ямы и тем самым освободить затворницам путь к спасению. Задумано – сделано: люк был сдвинут в сторону, куры проявили несвойственную им сообразительность и потянулись к благоуханной свободе. Джаныбек и московский Миша понукали заключенных, прицельно свиряя камни в окошко.

Наконец, вся пятерка выбралась на волю и принялась вызывающе отряхиваться и охорашиваться. Приблизиться к ним на расстояние вытянутой руки не рискнул бы никакой здравомыслящий человек, будь он даже военный герой Советского Союза: следовало их сначала отчистить и отмыть. Осуществить необходимое можно было при помощи поливального шланга, пустив воду во весь опор. Так и поступили. Пять минут спустя обессилевшие мокрые курицы были пойманы и готовы проследовать на плаху – неприметный низкий пенек в углу двора. Москвич Миша Дворкин стоял у пенька, молодецки поигрывая плотническим топором. Джаныбек подошел к своему гостю вплотную.

– Миша, – сказал Джаныбек вполголоса, – я тебя прошу, просто дружески умоляю. Про кур – никому ни слова! А то на свадьбу наш

председатель Союза писателей придет как почетный гость, узнает – и что тогда будет?

– Ну, что? – спросил Миша с большим интересом.

– А то, – сказал Джаныбек. – Он подумает, что я все это нарочно строил, для оскорбления. И меня самого съест, как эту курицу.

Свадебный пьяный пир не спеша и старательно разглядывала Лейла за оконцем кибитки – и жениха с невестой, и главного писателя, который так ничего и не узнал про тех кур, и маму с алыми напомаженными губами и насурьмленными бровями, и тихо напивавшихся сельских родственников, и московского приятеля Мишу Дворкина. Все там были, в прошлом, только отца ее, Курта, не было видно.

Его и мама, в ту пору еще с отменными родными зубами, видела не часто: приехал-уехал. Лейла этого Курта не запомнила, а может, никогда и не видела; так случается. Дочке почему-то представлялось, что Курт был немец, наезжал из Москвы по служебным делам дня на четыре, а то и на всю неделю, а потом возвращался восвояси, улетал в столицу родины чудесной. Но мама предлагала иной вариант и твердо стояла на своем: папа – туркмен, он приехал из Ашхабада, и это все. Никакими другими знаниями об отце Лейлы мама не желала делиться с дочкой. Вполне допустимо, что и знаний-то никаких не было в помине; сказано же: приехал-уехал. Однажды под нажимом Лейлы мама, неизвестно чему хихикая, обронила как бы между прочим, как бы вскользь, что Курт, красавец и гуляка, служил в газете корреспондентом. И через год после того, как Лейла родилась на свет, залетный папа появился в последний раз, оставил денег и исчез из поля зрения навсегда. Исчез – и все, с концами. Куда его черт унес, по словам нехоти смешливой мамы, никто не знал и даже не догадывался. И из газеты уволился.

Вскоре Лейла свылась с мыслью о том, что папы не будет. У одних детей был папа, а у других его не было, и это случилось нередко. Лейла особенно не печалилась и слез не лила оттого, что на месте Курта в доме обрисовалось пустое пространство: так уж вышло, что дочка с папой разминулась и не успела его полюбить. И никакого разрыва, приносящего боль утраты, меж ними не случилось: приехал-уехал, и то неизвестно когда... Потом разные дяденьки нередко заглядывали к маме и оставались ночевать, среди них оказался однажды милиционер с пистолетом, которым он все время размахивал, как видно, для красоты. Никакого отношения к Курту эти дядьки, по разумению Лейлы, не имели, они были местные, а не прилетали на самолете из туркменского Ашхабада или русской Москвы, где ненароком встречались и немцы. Надежда на прилет папы была совершенно зазеркальная, знакомство с ним – нереальным. Не испытывая к испарившемуся красивому Курту неприязни, повзрослевшая Лейла проштудировала с пристрастием мамин фотоальбомы, нашла там немало мужиков разных возрастов и наций, но определить с уверенностью, кто из них приходится ей папой, не представлялось возможным. На одной из фотографий, с узорным, по моде тех времен, обрезом, она в годовалой девочке признала себя – голышом, на руках у молодого парня с красивым гладким лицом, с копной темных волос, не тронутых расческой. Тут же находилась и улыбающаяся мама, впевнившаяся в рукав красивого парня... На прямой вопрос, не Курт ли, наконец, найден в этих залежах, и почему он, если это так, ни капли не похож на туркмена, мама ответила дочке непривычно сурово: «Он австрияк из Вены. Забудь о нем, тебе же лучше будет». Но Лейла пропустила материнский совет мимо ушей, а фотографию припрятала подальше.

Так или иначе, но в семейных архивах, сохраняемых в коробках из-под обуви, Курт был обнаружен. Во всем этом обескровленном хламе, этих бесполезных ископаемых – фотокарточках, пропылившихся письмах, каких-то выцветших ленточках и обрывках записок – золотозубая мама любила копаться не меньше, чем неумолимо спать с мужчинами. Отец Лейлы, по ее путаным словам, сохранился в этих отвалах и штреках прошлого лишь в единственном экземпляре. Дочь не верила матери. Лейла вообще не верила людям. Джаныбеку она тоже не верила, но это никак не влияло на ее отношения с мужем.

Конная тропа виляла и петляла по наветренному склону холма, расцвеченному, как подтеками ржавчины, какой-то желтой и коричневой растительностью – то ли чахлой травой, то ли высокогорными лишайниками. Четыре часа верхом, в горах, быстро прошли, да надолго запомнились Артему Каратуте: ломило поясницу, саднило внутренние стороны бедер, обжигало болью стертые до крови ремнями стремя икры в широких голенищах кирзовых сапог. Да еще красивый выпуклый шов, разделявший надвое, меж накладных карманов с медными пистонами по углам, заднюю часть джинсов Wrangler, врезался в коп-

чик на каждом шагу, словно орудие изощренной пытки. А Рувим Веселовский – тот держался в седле петушком: беззаботно набрасывал повод на переднюю луку и свысока одобрительно поглядывал по сторонам. Вполне благополучный вид Рувима не то чтобы вызывал зависть в разболтанной на рыси и галопе, как коктейль в шейкере, душе Артема Каратуты, но подспудно раздувал запоздалое сожаление: зачем, старый дурак, согласился ехать черт знает куда, сидел бы себе в Тель-Авиве, под пальмой, на морском берегу. Но он дал себя уговорить без борьбы – Рувим, давний приятель, своим легким слогом и отборными словами разбудил в нем такое любопытство, что сладить было просто невозможно. Да и сам Артем, надо отдать ему должное, был склонен к авантюрам: его и рейд на слонах по индийским джунглям не остановил бы, если он вбил что-нибудь себе в голову. Так что уж тут говорить о каком-то конном переходе по Тянь-Шаню, вблизи надежно утоптанного Великого шелкового пути!

Шелковый путь – тот был утопан, это правда, века не состарили его, а лишь укрепили. По отношению к Артему Каратуте время не было столь беспристрастно: после шестидесяти, на седьмом десятке он иногда ловил себя на мысли о том, что ноги его уже не те и руки не те, да и сердце без видимой причины дает перебои и скачки – не то, что раньше. По этой причине Артем не впадал в хандру, а пил медицинские таблетки, если не терял их и не забывал принимать. Напоминать ему или искать по сусекам было некому: Артем Каратута давно и успешно убедил себя в том, что он – природный холостяк, и нервная его система, от нарушения которой и происходят все неприятности, вплоть до тупиковых, останется сохранной лишь в холостяцких условиях. Была у него когда-то жена, даже две, вторая родила ему сына Степана, осевшего почему-то в довольно-таки загадочной Австралии и добившегося и достигшего там успеха то ли в шоу-бизнесе, то ли в игровой индустрии. Десятилетний сын распрощался с отцом вместе с энергичной и предприимчивой мамой, не готовой смириться с деловой инертностью мужа в то время, когда кругом, на каждом шагу, распускались сказочные букеты больших денег. Вот и последняя попытка наладить семейную жизнь путем усердного труда не увенчалась успехом: Артем решительно отказался торговать по перечислению бытовой электроникой сомнительного происхождения. Тут степановой матери стало окончательно ясно, что, выйдя за Артема, она совершила роковую ошибку и с таким простофилей далеко не уедешь. В далекую Австралию, действительно, Артем не поехал, а в начале 90-х, с целой толпой евреев, прибыл в Израиль на ПМЖ. Дипломированный инженер, он поступил на военную базу техником, получил однокомнатную квартиру в доме для одиночек и зажил, строго говоря, припеваючи. Сын Степан писал ему два раза в год открытки на английском языке, и Артем сжато отвечал ему по-русски. Потом из Австралии пришел в нарядном конверте письмецо, в котором Степан сообщал, что решил креститься. Казалось бы, какая разница – эллин или иудей? – но Артем расстроился всерьез: в решении австралийского сына он увидел предательство своим малознакомым отпрыском всех тех родителей-прародителей, которые предшествовали на земле самому Артему Каратуте и упрямо держались своей веры. Было, однако, и другое объяснение неприятной новости: сынок Степа, как видно, пошел в маму и вырос дурак дураком. Если Бог есть, так ведь он один на всех, и не все ли равно, куда ходить – в церковь или синагогу, осенять себя четырехугольным Иисусовым крестом или шестиконечным щитом Давида. Малознакомый Степка, обратившийся неизвестно зачем к попам в их расшитых золотом пальто и несусветных шляпах, был Артемом с облегчением исторгнут из души и окончательно забыт. Это поднебесное событие подействовало и повлияло на Артема Каратуту; он задумался над кое-какими обстоятельствами нашей жизни, на которые прежде поглядывал с поверхностным прищуром. По какому, например, такому правилу он должен любить детей вообще и своих в частности? Это кто постановил? Африканский шимпанзе – да, тот, наверно, любит. Но он все же не африканский шимпанзе, а Артем Каратута. И неприятного младенца, орущего и плачущего, и катающегося по полу, и не дающего покоя, любить по определению не обязательно. Такая любовь, несомненно, есть отголосок древней зверской заботы о выживании вида; в этом глухом аккорде Артем был согласен с Дарвином, хотя другие соображения автора «Происхождения видов» решительно отметал.

– Рува! – позвал Артем Рувима Веселовского, и тот, распрямив ноги в стременах, всем корпусом повернулся в седле.

– Что, устал? – без всякой, впрочем, жалости спросил Рувим. – Ско-ро уже приедем.

По мере приближения к Ак-Топозу Рувим становился все праздничней, как будто ехал на пир к желанным друзьям. Утомленный долгим переездом, Артем Каратута досадливо дивился такому приподнятому настроению своего товарища.

– Как думаешь, Рувим, – скучно глядя на обернувшегося Рувима Веселовского, сказал Артем, – дети – цветы или не цветы?

– В яблочко! – придерживая коня, чтоб дать Артему подъехать поближе, сказал Рувим. – Вопрос в самое яблочко.

– Ну, так как? – поддал Артем.

– Как, как... – сказал Рувим. – Это смотря для кого. И судя по обстоятельствам. – И улыбнулся.

– Ну, понятно, – сказал Артем Каратута со значением. – Но я не про тебя... Вот человек любит, например, зарю. А почему? Потому что так принято: любить зарю. Может, он и детей любит, потому что так принято? И кто по-другому смотрит и не восторгается, тот подозрительный и вообще плохой?

– Да кто его знает, – сказал Рувим и с неохотой пожал плечами. – Вот я, скажем...

– Речь не о тебе, – предостерег Артем Каратута – Я знаю, зачем ты меня сюда завез. И не жалею. Но как ведь получается?

– Ну, как? – с интересом переспросил Рувим Веселовский.

– Во-первых, родители, – дал объяснение Артем. – Они терпят, ночи не спят, и коляску надо, и гулять ходить на бульвар – все надо! И они, эти папа с мамой, обязательно надеются на отдачу: детки подрастут, забудут, поцелуют когда-нибудь, последний стакан воды поднесут. Все мы так устроены, торговым образом, и это всего касается, даже Бога: мы – Богу, а Бог – нам. Как говорится, баш на баш.

– Ну? – снова спросил Рувим.

– Вот в том-то и дело, – с болью подвигаясь в седле, сказал Артем. – Дети вырастут, и – тью-тю! Уедут к чертовой матери, забудут, как тебя зовут. Какой там стакан воды! В том-то все и дело, что отцовская любовь ни в какое сравнение не идет с сыновней или там дочерней. Ни в чем так человек не прокалывается, как в этом, сам знаешь.

– Я не знаю, – сказал Рувим и в седле сгорбился.

– Ну, может, узнаешь, – обнадежил Артем Каратута. – Тебе, значит, лучше, А я уже узнал.

– Ты рассказывал, – сочувственно откликнулся Рувим Веселовский. – Австралия? Дикое дело, гори оно огнем.

– Не все, совсем не все рассказывал Артем Каратута Рувиму Веселовскому. Да и Рувим Артему – не все.

Артем, как ни странно, был чадолюбив. В этой своей любви он опирался на опыт золотых далеких предков, гонявших козлов и баранов по холмам Иудеи и Самарии. Праотец наш Иаков являлся, в изрядной степени, его идеалом: двенадцать сыновей плюс дочка Дина. И вряд ли Иаков Большое Гнездо стирал пеленки своему выводку и убаюкивал деток колыбельными песнями о дедушке Аврааме и сером волке.

Да и не в этой же, честное слово, чепухе, не в этой понесухе заключался высокий дар отца своей поросли! Отец дарит жизнь: небо, и солнце на небе, и траву на лугу, и лес с птицами. И вот эти, кстати, крутизны, по которым и лошадь-то еле ползет на своих четырех ногах, дал сыну в пожизненное пользование покойный Самуил Исаакович Каратута, военный инженер. Эти дикие горы, куда Артема заманил своими рассказами Рувим Веселовский, проверенный друг.

Рувима вела сюда и волокла надежда, а надежда – это мечта, а мечта – это Бог. Мечтая о том, чтобы поездка сюда, в заоблачные края, в кишлак Ак-Топоз, не закончилась ничем, Рувим Веселовский надеялся на Бога: ненавязчиво, чтоб не докучать, просил его помочь в этом важном деле. Больше ему надеяться было не на кого, просить некого, и не хотелось думать о том, какими глазами будет он смотреть на Артема Каратуту, своего товарища, если все труды и тяготы пути пойдут коту под хвост.

А тягот выпало немало, да. Сначала много часов летели на самолете с пересадками из Тель-Авива в Бишкек, и у Артема острой болью прихватило ногу, как будто туда воткнули шило: это напомнил о себе тромб, и никто не знал, сдвинется ли он с места и закупорит ли, как пробка, легочный сосуд до приземления. О такой, мягко говоря, неприятности предупредил врач перед отлетом, дома, и шприц дал на этот случай – немедленно делать укол. Рувим твердой рукой вогнал шприц и надавил на стерженек; это, как видно, помогло. Долетели. Потом погрузились в набитый какими-то мешочниками междугородний автобус, расхлябанный, натужно вздыхавший на выбоинах и скрипевший на поворотах дрянной дороги, ведущей в горы. И это было еще не все.

После головокружительного перевала взяли вправо, минут двадцать тряслись по грунтовке, а потом остановились на окраине какого-то почти безлюдного поселка. Там, на автостанции, автобус развернулся и уехал, а Рувим с Артемом и мешочниками остались. Побросав мешки в пыль дороги, мешочники расселись на них и погрузились в терпеливое ожидание чего-то, а Артем с Рувимом, вскарабкавшись не без проклятий в открытый кузов старинной попутки-полупортки, покатали вдоль реки, вверх по долине, помнившей поступь верблюдов Марко Поло. Трястись на этот раз предстояло километров сорок, до населенного горными людьми пункта Алтын-Чулак, там ночевать, а наутро садиться в седла и двигаться верхами, чтоб засветло попасть в кишлак Ак-Топоз, где Лейла Куртовна, вдова суфия Джаныбека, проживала в кибитке.

Чем ближе к Ак-Топозу, тем радостней становился Рувим Веселовский и окрыленней, как будто добрый ангел ждал его там для беседы, сидя на пенке у ручья, на окраине кишлака. Может, в Лейле Куртовне он видел этого ангела, присевшего на пенек. Может быть.

Во всяком случае, Артем Каратута, страдавший от болезненных ссадин и тряски в седле, думал именно так. История, рассказанная ему Рувимом, увлекла бы и бесчувственную анаконду, а Артем был человеком, много повидавшим и открытым сквознякам чужих переживаний. Да он и добился в жизни немало, и кое-чего достиг. Вот, к примеру, если б он сейчас, за изгибом тропы увидел обувной магазин, то мог бы совершенно спокойно в него войти и купить, не прикидывая в уме, а хватит ли денег до пенсионной полочки, пару дорогих итальянских туфель – чтоб скинуть эти треклятые кирзачи, до крови натершие ему ноги. Но не было никакого обувного магазина в поле зрения Артема Каратуты, сколько ни крути головой.

– А если ты ошибся? – нахохлившись в седле, то ли спросил, то ли предположил Артем. Но Рувим не расслышал.

Правду сказать, Артем и не рассчитывал услышать ответ. Рувим с самого начала настроился на успех своего высокогорного предприятия, и все попытки Артема заглянуть в эту историю поглубже и разглядеть, что же там, на дне – все эти попытки отскакивали от загадочно улыбавшегося Веселовского, как сушеный горох от стены. И Артем, испытывая легкую досаду, запасливо тайл от своего товарища то нелепое давнее приключение, которое много раз уже намеревался открыть и всякий раз в последний момент отказывался от своего намерения: язык не поворачивался. А дело было вот какое: у Артема Каратуты лет сорок с довеском назад, без всякой связи с австралийским сыном Степаном, родилась дочка Вера. Эту дочку он видел один-единственный раз, когда ей исполнилось месяца полтора или два – счастливая, но несколько озабоченная мама принесла ее к отцу познакомиться. По причине совершенного нежелания представлять счастливую маму с дочкой вечно чем-то недовольной жене и родителям, знакомство состоялось не в отчем доме, а на Тверском бульваре, под памятником Клименту Тимирязеву у Никитских ворот. Знаменитый академик с высоты своего пьедестала одобрительно наблюдал за происходящим, приставив к низу живота научную трубку, через которую, казалось, собирался помочиться на окружающих.

Более Артем Каратута с дочкой не встречался никогда. Так сложилось: то какие-то экзамены по повышению квалификации, то отпуск на ЮБК, то снова работы по горло, потом развод с разделом жилплощади, потом новая женитьба. Время текло, год шел за годом – в затылок... Дочку Веру в коляске, под гранитным Тимирязевым с его трубкой, Артем бережно хранил в дальней ячейке памяти, под замком – но ключик в тот замочек вставлял редко: не было тяги. Мало кто знал о том происшествии, а точнее, никто и не знал – за исключением, разумеется, нескольких человек: самого Артема, дочкиной мамы и, может быть, самой дочки Веры. Изредка возвращаясь к этой истории и перелистывая ее страницы, Артем Каратута все тверже убеждал себя в том, что все сделал правильно: предупредил девушку, что жениться на ней не собирается ни при какой погоде, детородное свое назначение, приехав на трамвае в какое-то подмосковное Куево-Кукуево, выполнил до конца, не пообещав при этом никаких отцовских гарантий. Но девушка о гарантиях и разговора не заводила: было не до того. Вдобавок она сказала потайным жарким шепотом, что любит Артема Каратуту не на шутку и хочет родить от него ребеночка. Артем был рад поделиться жизнью с хорошей милой девушкой и подарить ей от всей души счастье материнства. В конце концов, не обязательно жениться для продолжения рода – не каменный все же век на дворе! Добрые намерения – вот что главное.

Пришел час, и Артем Каратута, распроставшись с надоевшей Росси-

ей, улетел на ПМЖ в Израиль. Там, в далеком краю апельсиновых рощ и финиковых берегов, Артем, к собственному удивлению, вспомнил о дочке Вере, и ее неощутимое существование в Куево-Куеуево вдруг оказалось ему сопряженным и связанным тонкой шелковой нитью с его собственной жизнью. Эта странная незваная мысль приятно овладела душой Артема Каратуты – в пику, возможно, отщепившемуся от родового ствола австралийскому сыну Степе. И, когда другой час пришел, и уже обустроившийся в новой жизни Артем отправился независимо взглянуть на бывшую родину – как она там сидит в своем снегу – он точно знал: эту Веру надо разыскать. Может, она тоже захочет приехать в Израиль, к отцу – погостить или же навсегда. Ей должно быть уже за сорок, у нее, скорей всего, и свои дети есть. А может, она овдовела и теперь живет одна; так даже проще. О Верининой маме Артем Каратута не вспоминал – чего о ней вспоминать, если она, вполне возможно, уже умерла или вышла замуж и уехала в другой город.

Оглядевшись в Москве, Артем приступил к розыскам. Он собрался было ехать в Куево-Куеуево, но потом раздумал: там все дома одинаковые, как Веру найдешь? Ему подсказали обратиться в платное справочное бюро, там доллар за сто найдут хоть семью с детьми, хоть мать-одиночку. Заполняя бланк на ускоренный поиск, Артем Каратута вдруг оцепенел, и шариковая ручка застыла над пустой строкой: он совершенно позабыл, как звали маму Веры. Таня? Нет. Лена? Тоже нет... Вместо имени той доброй милой девушки зияла в памяти аккуратная черная дырка. Почему-то он запомнил только фамилию ее первого мужа-армянина, которого она, походя, упомянула раз-другой – Мнацаканов. Но с этим армянином Верина мама разругалась и развелась еще до того, как познакомилась с Артемом Каратутой, так что этот Мнацаканов, даже если б он нашелся, вряд ли смог бы помочь. Да и как его найдешь, если армян в Москве хоть пруд пруди, а как звали Мнацаканова по имени – Ашот или там Рубен – зависший над бланком Артем не имел представления.

– Забыл, как звать... – отодвигая незаполненный бланк, удивленно пробормотал Артем Каратута и поднялся из-за стола. Провожаемый нехорошим взглядом привольно откинувшегося в дорогом английском кресле служащего, он вышел на улицу. Единственное, чего ему сейчас хотелось, – так это выкрикнуть, обращаясь ко всему миру, к небу и земле: «Да как же это так?!» – и с размаху огреть себя ладонями по ляжкам. Но, будучи от природы сдержанным человеком, Артем не желал привлекать к себе внимание прохожих, а поэтому руками не размахивал и удрученно молчал. Найти знаменитого «дедушку на деревне» было несравнимо проще, чем отыскать дочку Веру в многомиллионной Москве. Идти по следу Артему было никак невозможно, потому что не было и следа: газета, где служила когда-то секретаршей позабытая мама, давным-давно прогорела и закрылась, и в редакционном «сталинском» доме теперь грохотал шарами и кеглями боулинг. Поиск Веры, таким образом, с самого начала, с первого дня уперся лбом в глухую непроницаемую стену. Винить в этом Артему было некого, кроме как самого себя и свою проклятую забывчивость; а ведь знал, наверняка знал и имя, и фамилию той миловидной секретарши – и вот забыл! И надежды вспомнить не было никакой. Оставалось только собрать чемодан и возвращаться домой, в Тель-Авив.

Артем Каратута так и сделал.

До вечера оставалось недолго, когда всадники увидели в ложбине, на пологом спуске, уходящем к витоум, в зарослях непокорного кустарника ручью, кишлак Ак-Топоз. Там вразнобой, переливчато брехали собаки, как будто кто-то невпопад барабанил по клавишам расстроенного рояля. Золотистые, цвета свежеспеченной лепешки, глинобитные кибитки были прихотливо разбросаны по спуску. Появился здесь улицы и просеки – и кишлак тотчас превратился бы из свободной стоянки людей в какой-то заштатный рабочий поселок или совхоз с гнусным сельсоветом под драным национальным флагом. Но ни Рувиму Веселовскому, ни Артему Каратуте и в голову не приходило выискивать здесь названия улиц на стенах кибиток. Рувиму было известно, что жилище покойного Джаныбека, суфия, стоит на берегу ручья, и этого ориентира было более чем достаточно.

Предзакатное небо над кишлаком наливалось густым соком вечера, заросли вдоль ручья чернели на глазах, а островерхие снежные пики гор по другую сторону ущелья вспыхивали и рассыпали шейфы искр, как будто бесшумные молнии вонзались в лед и камень. Высшая власть гор над людьми, зверями и деревьями была здесь неоспорима и безгранична, и никто – ни районный милиционер с ружьем, ни новый народный хан в столице – ничего не могли с этим поделаться.

Пока ехали через кишлак, повстречали нескольких местных – мужчин и женщин.

– Салям алейкум! – дружелюбно приветствовал местных жителей Рувим Веселовский с высоты седла. – Лейла где тут живет? Лейла!

Разглядев приезжих, их европейские лица, встречные не задерживались с ответом и указывали рукою, куда надо ехать. Как видно, приезжие появлялись здесь не часто, а русские, пусть даже и евреи, вообще никогда. Нетрудно было сообразить, что они могли искать в Ак-Топозе лишь только ту Лейлу, которая приехала сюда с мужем-суфием из большого города Кокмак, где русских полно, и одиноко проживавшую теперь в кибитке на берегу ручья. Других дел у русских в кишлаке Ак-Топоз не было и быть не могло.

– Рахмат! – учтиво благодарил встречных Рувим Веселовский и, трогая коня, отпуская поводья.

Артем Каратута попевал за своим товарищем. Получалось, что любой встречный-поперечный знает, где живет эта Лейла, а про Веру в Москве никто не знал и не слышал; и это, если разобраться, было несправедливо. Вздохнув, Артем в очередной раз передумал рассказывать Рувиму историю про утерянную дочку Веру и ее забытую маму, тем более что путники почти уже подъехали к месту своего назначения – одиноко стоявшей на отшибе, у самого ручья кибитке Лейлы Куртовны.

На вежливый, но не просительный стук Рувима Веселовского из кибитки донеслось:

– Заходите, не заперто!

Стучать в дверь тут могли только приезжие издалека чужаки, поэтому хозяйка и откликнулась по-русски. Рувим оглянулся, со смущенным торжеством поглядел на Артема Каратуту и потянул ручку.

Лейла Куртовна сидела у окна, на голубом пластмассовом, неведомо как попавшем сюда дачном стуле с подлокотниками, в единственной жилой комнате дома, прибранной, с застланным лоскутным покрывалом топчаном у одной стены и выкрашенным серой масляной краской фанерным шкафчиком у другой, с голым столом с керосиновой лампой посередине. В жидком свете лампы трудно было не то что определить, но и предположить, сколько женщине лет: пятьдесят или все семьдесят. На Востоке женщины быстро изнашиваются, а в горном кишлаке и недавно: там один лишь Аллах знает достоверно возраст той, которой суждено состариться и в час назначенный покинуть наш круг.

– Лейла! – задержавшись на пороге, промямлил Рувим Веселовский. – Вы... Ты...

Лейла Куртовна глядела удивленно.

– Вам чего? – спросила она. – Да вы зайдите.

Застыв на месте, Рувим не сводил глаз с восточной старухи в ее бесформенном черном платье и шальварах, собранных в сборки у щиколоток, над бортами глубоких азиатских галош. Артем Каратута легонько подтолкнул своего товарища и переступил порог вслед за ним. Они оба, рядышком, уселись на край топчана, скрипнувшего под их тяжестью. Рувим удрученно молчал.

– Тут вот какое дело... – старательно глядя мимо женщины у окна, начал Артем Каратута. – Мы из Тель-Авива приехали... – Не зная, что бы еще сказать, он запнулся и умолк.

Лейла Куртовна взглянула на Артема с опаской, как будто он ей объявил, что прибыл в Ак-Топоз не из еврейского края, а прямым ходом из районной психбольницы. Из Тель-Авива! Да тут, в кишлаке, про таких и не слыхивали отродясь.

– Я ваш отец, – глухим голосом сказал Рувим Веселовский и добавил еле слышно, скорее, для себя, чем для нее: – Папа...

– Вы Курт? – чуть подавшись вперед, недоверчиво спросила Лейла.

– Я Рувим, – сказал Веселовский. – Какой еще Курт?

– Мама сначала думала, – объяснила Лейла, – что он из Ашхабада.

– Нет, – сказал Рувим и улыбнулся косо, как неудачной шутке. – Нет.

– Я тоже не поверила, – утвердительно продолжала Лейла. – Он никак не туркмен, а австриец. Он в Вену уехал.

– В какую там Вену! – досадливо махнул рукой Рувим Веселовский. – В Израиль я уехал, поэтому она вам ничего и не сказала. Испугалась.

– Мне тогда годика еще не было, когда он уехал, – сказала Лейла и поднесла широкий обшлаг рукава к повлажневшим вдруг глазам. Это слово – годик – вылетело из ее запавшего беззубого рта с завернутыми внутрь сухими губами, как яркая бабочка из темной щели.

– Это правда, – сказал Рувим. – Вам тогда был год.

– У меня фотография есть! – с вызовом сказала Лейла Куртовна. – С Куртом!

Артем Каратута, слушавший внимательно, закашлялся и прочистил горло – на перевале его продуло. Артем мысленно помещал себя на место своего товарища, и ничего хорошего из этого не получалось: сердитая старушка не обрадовалась появлению Рувима, она его вообще не собирается признавать. Ничего себе! Выходит дело, Рувим зря старался, зря надеялся, что получит родную дочку на старости лет, на черный день. Уж лучше бы тогда все обернулось, как у него самого с московской Верой: не нашел, и кончено! А то поперлись сюда, на край земли, а зазря.

– Никакого Курта не существует! – помолчав, сказал Рувим Веселовский. – Это просто выдумка. Курт – это я. Но – не я.

– Существует, существует! – упрямо возразила Лейла. – Я вам сейчас карточку покажу!

Поднявшись со стула, она подошла к шкафу, приотворила фанерную дверцу и наклонилась над аккуратно составленными на полке коробками. Искала она недолго. Распрявившись, с прямоугольником старой фотографии в руке, Лейла повернулась к Рувиму.

– Вот, смотрите! – не выпуская фотографию из рук, сказала Лейла. – Это Курт, он меня держит!

Рувим, сцепив на коленях пальцы в замок, вглядывался в молодого красавца с ребенком на руках.

– Это я вас держу... – сказал Рувим Веселовский. – Как же вы не узнаете!

– Я вам не верю! – строго сказала Лейла. – Как вам не стыдно! Вы не Курт! – Она, прищурив для зоркости глаза, уставилась, не мигая, на сидящего перед ней плешивого старика с красными прожилками на морщинистых дряблых щеках, с коричневыми пятнами на тыльной стороне ладоней. – И ни капли на него не похожи!

Артем Каратута, сидевший неподвижно на краешке топчана, удивился: почему это Рувиму должно быть стыдно? За что? Это уже чересчур... И нечего тут распинаться и доказывать, кто Курт, а кто не Курт.

– Пойдем, Рувим, – сказал Артем Каратута. – Бесплезное дело...

Превозмогая боль в ногах и сбитом копчике, он стал медленно подниматься с топчана. Более всего на свете ему не хотелось сейчас снова садиться на лошадь; он думал об этом обреченно, с тяжелой тоской.

– Да, идите, – сказала Лейла Куртовна. – В соседней кибитке никого нет, можете там переночевать.

Они вышли, не прощаясь.

А Лейла Куртовна прикрутила фитиль в керосиновой лампе, но не до конца; комната погрузилась в желтоватый полумрак. Сидя на дачном стуле, она рассеянно глядела в окно, за которым ничего нельзя было вначале разглядеть, кроме ночи. Потом как бы из ничего, из тьмы возникла картина, и Лейла напрягла зрение: красивый Курт бережно и с любовью держал ее на руках, и мама тут стояла, рядом.

А Рувиму Веселовскому места на этой картине не нашлось.

Убить Марко Поло

Марко Поло – знаменитый путешественник (1254-1324).

«Марко Поло» – четырехзвездочная московская гостиница в Спиридоньевском переулке.

На окраине курортного местечка Чолпон-Ата, на берегу азиатского озера Иссык-Куль стоит удивительный памятник: узкобедрая арка, вознесенная на полсотни метров к прохладному чистому небу, опирается высокими, чуть расставленными ногами в каменистую строгую землю, сплошь залитую зеленой яблоневыми садов. За синей аркой, роскошно украшенной золотой арабской вязью и скульптурными фигурами львов, орлов и египетских фараонов, белеет добротный особнячок, в котором проживает со своими чадами и домочадцами сторож сооружения, посвященного памяти овечьего пастуха Куджумшукура. Этот Куджумшукур покинул наш круг в середине прошлого века, оставив по себе память в сердцах немногих. Среди этих немногих был внук покойного, по имени Кубатбек. Прошли годы, пришло время великой советской державе последовать за овечьим пастухом и погрузиться в воды забвения. В увлекательной суматохе гласности и перестройки Кубатбек стремительно разбогател и, как водится в таких случаях, был объявлен в розыск; разыскивают его по сей день. А Кубатбек, ничуть не тяготясь созданным положением, поставил любимому деду памятник и в десяти минутах от него основал конный завод, куда и приезжает дважды в год на соревнования по гандикапу, коего является большим любите-

лем и знатоком. Там, на соревнованиях, я его и видел нынешней осенью; вполне приятный и обаятельный человек.

А с Диком Джонсом я познакомился у подножья памятной арки. Подъехав туда почти одновременно, мы вышли из машин, дивясь и любуясь роскошным сооружением на диковинном иссык-кульском берегу. Дика особенно потрясли фараоны – щедро позолоченные, в каких-то перьях и змеях, кругло и пристально глядевшие на заозерные горы Кунгей-Алатоо.

– Хорошие фараоны, – сказал я, и Дик согласно кивнул головой. – Кажется, они сейчас возьмут и все тут захватят.

– Да, – сказал Дик. – Я такого еще никогда не видал.

А повидал он немало. Малым ребенком приехав в Америку из России лет тридцать тому назад, с первой волной эмиграции, он легко и с удовольствием освоился в новом мире, успешно торговал антиквариатом и, благодаря усилиям родителей, бывших школьных учителей, сохранил русский язык в пристойном объеме. Прекрасной целью его жизни было объехать все дикие места, оставшиеся еще на нашей земле. Он фотографировался с африканскими людоедами, продирался сквозь волглые тропические заросли острова Борнео и пил шампанское на Северном полюсе. Он не был авантюристом, он был одержимым. Торгуя он не фальшивыми яйцами Фаберже, а подержанными автомобильными покрывками, он отыскал бы другое увлечение, не столь дорогостоящее: например, собирал бы акулы зубы и медвежьи когти. Но в любом случае предмет его увлечения хоть косвенно, хоть как был бы связан с риском для жизни и ночным захватывающим страхом.

В Центральную Азию, на Иссык-Куль его привела твердая уверенность в том, что в этих заповедных краях мало что изменилось со стародавних времен и что по Великому шелковому пути нет-нет да идут верблюжьи караваны: брэнчат колокольчики, разбойники с большой дороги засыпают порох на полки своих инкрустированных перламутром карамультуков... Пятнадцать минут спустя после нашего знакомства мы уже стали приятелями. Я с сердечным почтением выслушал рассказ Дика о его прямооточной страсти и, в свою очередь, рассказал своему новому знакомому о том, что я журналист и приехал в эти края собирать материал для моей израильской газеты. Таким окольным образом выяснилось, что оба мы родом из России – и мы с новым интересом принялись друг к другу, как пара полканов или трезоров. Номера нам были заказаны в единственной здесь приличной гостинице «Снежный барс», и путешествие по берегу озера мы, ради приятного разговора, продолжили в одной машине.

– Что это здесь написано? – указывая на рекламный щит у придорожного шалмана, спросил Дик. Его способность к чтению заметно уступала разговорным возможностям.

– «У Мойши», – прочитал я. – «Еда как дома. Первое, второе и компот».

– Гм, – сказал Дик. – Не совсем азиатское название... И почему не на местном языке?

– На местном я бы не сумел вам это прочитать, – сказал я. – Тут полно русских, включая евреев. А чабаны коренной национальности кочуют себе по горам и ни в чем себе не отказывают.

– Гм, – снова сказал Дик. – Вы уверены?

– Почти да, – сказала я. – Кстати, наши с вами предки в далекие времена тоже кочевали со своими козлами и баранами по холмам Иудеи и Самарии. Или не так?

– Ну, как вам сказать... – уклонился от прямого ответа Дик. – Вы же догадываетесь, что фамилия моего отца далеко не Джонс и даже не Иванов. Но зато я – Дик Джонс, и это главное!.. «У Мойши». Это ж надо только придумать!

– Да вы не расстраивайтесь, – искренне посоветовал я. – Возможно, это всего лишь трюк, и за прилавком этой забегаловки стоит натуральный киргиз или русак. А что? Вполне возможный вариант.

– Да не в том дело, – удрученно заметил Дик. – Просто прежде чем сюда ехать, я выучил местные названия. Это же настоящая прелесть, музыка! Вот послушайте: Тянь-Шань, Иссык-Куль, Хан-Тенгри, Кара-Кол, Джеты-Огуз. Хочется сесть в седло, охотиться, сплавляться по горным рекам... А тут – на тебе: «У Мойши».

Глядя на удрученного Дика, я понял, что меня ждут интересные дни.

Гостиница «Снежный барс» стояла на берегу озера, у кромки мрачной тихой воды.

– Между прочим, – оглядывая холл с деревянной регистрационной стойкой, сказал Дик, – снежный барс внесен в Красную книгу. Охота на него запрещена.

– Между прочим, – сказал я, – мне уже дважды предлагали шкуру снежного барса – убитого, заметьте, барса! – за двести долларов. И это до коммерческих переговоров.

– Да? – сказал Дик. – Надо обдумать это предложение.

Узкоглазая смешливая девочка за стойкой приняла наши паспорта и выдала нам по регистрационному бланку. Трудно сказать, что служило причиной ее смешливости: легкое утреннее настроение или незамутненность молодой души; но смотреть на нее было приятно. Заперев паспорта в жестяной коробке, девочка рассыпала по полированной стойке перед нами с полдюжины бумажных листов, на которых были напечатаны предложения приятных услуг, предоставляемых гостиницей: бассейн, тренажеры, сауна, массаж по-иссык-кульски. На последнем листке значилось: «Охотничьи услуги с выездом». И нарисован почему-то крокодил, свернувшийся в кольцо, с раззявленной пастью. Увидев крокодила, Дик сделал стойку.

– Что там написано? – спросил Дик, придвигая охотничье объявление.

– Можно пострелять, – сказал я. – Значит, так... Кеклики, долина Кзыл-Таш, река Сары-Су.

Дик стал серьезен и торжественен, как будто услышал первые аккорды Девятой симфонии Людвиг Ван Бетховена. Музыка азиатских названий сильно на него действовала.

– Что это – кеклики? – спросил Дик.

– Птички такие, – сказал я. – Вроде воробьев. Они тут пишут: «15 долларов штука», плюс два дня поездки в эту самую долину. Дороговато получается.

– Читайте дальше, – сдержанно попросил Дик.

– Улар, – прочитал я. – 126 долларов. Отроги нарынского Тянь-Шаня. Перевал Тюя-Ашу. – И добавил, не дожидаясь вопроса: – Улар – это горная индейка.

– Дальше, – сказал Дик.

– Кабан, – продолжал я, – 1341 доллар. Выезд на четыре дня, собаки. Ну, как – интересно?

– Очень, – сказал Дик. – А где этот кабан?

– Терской-Алатоо, урочище Алтын-Арча, – прочитал я. – Тут целый преискурант, не то что как в каком-то там «Макдональдсе»: гамбургер, чизбургер и все... Пошли дальше. Дикобраз, 675 долларов. Ущелье Су-Уксай. Без собак, с фонарем... При чем тут фонарь?

– Ночная охота с фонарем, – процедил сквозь зубы Дик. – Это все понимают.

– Раз так, хорошо, – не стал я спорить. – Волк горный. Урочище Кайнды. 894 доллара. Выделка шкуры по договоренности. Чучело головы по спецзаказу.

– А собаки? – спросил Дик.

– Про собак тут не написано, – сказал я. – Но дадут, наверно, если попросить получить.

– Хорошо... – сказал Дик. – Давайте дальше.

– Марко Поло, – прочитал я. – 9837 долларов. Подножье Хан-Тенгри. Экспедиция. Егерь, собаки, лошади.

– Как это – Марко Поло? – вздернув брови и глядя поверх узких очечков в золотой оправе, спросил Дик. – Вы что, шутите?

– И не думаю, – сказал я. – Во всяком случае, это не птица, иначе зачем тогда собаки.

– Значит, вы не знаете, – глухо и вместе с тем жестко сказал Дик. – Но там же написано, вы говорите, «экспедиция». А это значит, что дело серьезное. И егерь.

– Ну, можно написать «две экспедиции» и «четыре егеря», – позволил я себе усомниться.

Но Дик меня не слушал.

– Милая девушка! – обратился он к смешливой регистраторше. – Вот тут написано «Марко Поло». Это кто?

Старательно шевеля губами, девушка углубилась в чтение, а потом принялась смеяться и хохотать, как будто прочитанное развеселило ее сверх всякой меры. Отсмеявшись и немного успокоившись, она благоклонно взглянула на Дика и сказала:

– Это мы не знаем.

– Ну как же так, – укорил Дик. – Это ведь ваш отель, вы здесь работаете, на вашем рабочем месте лежит важный документ – а вы ничего не знаете. Кто же знает?

Тогда девушка потянулась к телефонной трубке, набрала номер и заговорила с кем-то на родном киргизском языке.

– Сейчас она узнает, – сказал я Дик. – В конце концов, она это в школе не проходила... Вот тут телефон этой охотничьей конторы, давайте запишем и позвоним.

Тем временем к стойке подошел от нечего делать пожилой лифтер в национальном колпаке и плечистый охранник, русский человек.

– Я охотник, – не тратя слов попусту, представился Дик. – Марко Поло – это кто?

– Козел это, – дал справку лифтер.

– Сам ты козел! – решительно опроверг охранник. – Не козел, а баран. Дикий.

– Крупный? – с надеждой спросил Дик. – Большой?

– О-го! – обнадеежил знающий охранник. – С ишака будет, это точно.

– Я приглашаю вас на охоту, – сказал мне Дик. – Пошли звонить!

К подножью Хан-Тенгри назначено было лететь с местного аэродрома – кочковатого поля, на окраине которого торчал бетонный барак. В бараке сидел милиционер в форменной фуражке и вдумчивыми глотками пил зеленый чай из синей с красными розами пиалушки. Самолеты прилетали сюда редко, по крайней необходимости.

Организаторы и участники охотничьей экспедиции договорились встретиться на аэродроме в девять утра – не слишком рано, не слишком поздно. Солнце скользило в небесах, жара не докучала. Озеро лениво лоснилось, белели снежные вершины горного хребта. День обещал быть приятным и свежим.

Первым к месту сбора прибыл хозяин коммерческого предприятия «Золотая мишень» г-н Конурбаев. В одной руке он держал свернутую в трубу карту района Хан-Тенгри, в другой – тульскую двустолвку двенадцатого калибра. До назначенной встречи оставалось еще четверть часа, и г-н Конурбаев отправился к милиционеру пить чай. Спустя считанные минуты появился сопровождающий молодой человек в походном снаряжении, по имени Руслан. Оружия не было при этом Руслане, зато на его плечах тяжело сидел дорожный мешок с продолговатыми накладными карманами, из которых выглядывали бутылочные головки. Сопровождающий, в силу своего незначительного служебного положения, не присоединился к чаепитию в бараке, а остался снаружи, привольно развалившись в траве под шелковичным деревом. Без пяти девять и мы с Диком вылезли из гостиничного микроавтобуса, который подрулил прямо к бараку. По бетонным ступеням крыльца нам навстречу спустился г-н Конурбаев с картой и ружьем.

– Самолет уже на подлете, – сказал г-н Конурбаев. – Егерь сейчас подтянется – и удачной охоты!

Но самолет почему-то все не прилетал, и егерь не подтягивался. Оглядев чистое пространство, г-н Конурбаев вздохнул и вернулся в барак, пить чай с милиционером.

Надо сказать, что этот мой приезд в Центральную Азию – не первый: я здесь бывал и прежде. Мне нравится этот неброский остров посреди мира, населенный людьми, исполненными внутреннего достоинства, гостеприимными и склонными пошутить при всяком подходящем случае. Мне нравится их созерцательное отношение к жизни и смерти, их родственная привязанность к камням и деревьям отчей земли. Есть в этом нечто фундаментальное, вечное – в том, разумеется, понимании, в каком нам доступна категория «вечность»; тут спору нет... Это как раз то, что мне хотелось бы видеть в людях моего народа, чего только не нахватавшегося, не набравшегося за две тысячи лет чужбины.

Случайно сойдясь с Диком Джонсом у подножья дикой арки, расставившей ноги, как будто она собралась помочиться, я почувствовал желание открыть этому человеку моего все же рода-племени красоту и прелесть здешних людей и мест. Охота на Марко Поло, у подножья Хан-Тенгри, в совсем уже диких краях, вполне соответствовала этому моему намерению. От практического его осуществления нас отделяло появление егеря и полчася полета на «кукурузнике», тряском, как телега.

Егерь явился пешим ходом, одновременно с самолетом – зеленым бипланом «Ан-2», рассчитанным на двенадцать пассажиров. Одежда егеря была подобрана кое-как: из-под клеенчатого драного плаща, когда-то желтого, торчали холщовые портки, заправленные в битые кирзовые сапоги. На голове сидела по-своему элегантно в своей бесформенности шапка-ушанка, когда-то коричневая, битая многолетними дождями и ветрами. Дубленое лицо под шапкой имело багровый оттенок, голубые глаза на нем светились снисхождением к людям и любовью к окружающей природе. Поперек носа, пониже переносицы, белел глубокий неровный шрам; такие появляются обычно после удара надколотой бутылкой. Нетрудно было догадаться, что перед нами беспредельно пьющий человек.

– Будем здоровы! – сказал егерь, подойдя, и освобожденно скинул с

плеча наземь рыболовный бредень, намотанный на палку. – Фу, черт... Дядя Жора я.

– Будем, будем, – откликнулся из-под дерева сопровождающий Руслан. – Сперва опохмелимся, а потом уже будем здоровы... Чего опаздываешь-то?

– Это не я, – нашелся дядя Жора и улыбнулся совершенно беззаботно, – это вот он опаздывает. – И указал рукою на заходящий на посадку «Ан-2». – Гляди!

Руслан и не подумал пялиться на порхающий над полем «кукурузник». Медленно поднявшись с земли, он, прижимая большой палец к ноздре – сначала к одной, потом к другой – старательно прочистил нос, оборотился к милицейскому бараку и замахал руками. Это означало, что время пришло и можно отправляться в путь. Г-н Конурбаев немедленно появился на крыльце с трубой и ружьем. Милиционер тоже вышел проводить охотников.

– Примите подарок от нашей фирмы, – сказал г-н Конурбаев с крыльца, как с трибуны. – Охотничий талисман. – И протянул Дикю деревянную коробочку.

Дик был растроган. Открыв коробочку, он обнаружил в ней, в красной бархатной постельке, металлическую скобу с фигурными ушками, величиной с палец.

– Что это? – спросил Дик.

– Наш народный музыкальный инструмент, – сказал г-н Конурбаев.

– А что, – сказал я, – будем играть в свободное время. На фоне Хан-Тенгри... Может, это такой манок для Марко Поло.

– Тут бархат, – сказал Дик. – Вы такого даже в Нью-Йорке не купите.

– Ну, Нью-Йорк! – сказал я. – Мало ли чего там нет... Я видал, как играют на этой штуке: вставляют ее в пасть и дергают за скобку. И во рту возникают музыкальные звуки. Приморские народы дуют в этом случае в большую раковину, а в горах где вы возьмете море?

– Зачем же тогда егеря принес невод? – задал резонный вопрос Дик. Вопросы сыпались из него, как горох из мешка.

– Во-первых, это не невод, а бредень, – сказал я. – А во-вторых, я понятия не имею, что он им собирается ловить и, главное, где: тут Волга нужна как минимум или лучше Миссисипи.

– А вы видели, что у него с носом, – спросил Дик, – у этого дяди Жоры?

– А то! – сказал я. – Ну, может, упал где-нибудь. С горы.

Самолет выл, трещал и кашлял, и эта какофония пробуждала в моем сердце героический отзвук: путешествие будет опасным. Нас ждут серьезные испытания, тяготы и лишения, а Марко Поло окажется сродни тигру или льву и окажет сопротивление. Да и «кукурузник» был похож изнутри не на пассажирский лайнер, а на военное средство для воздушной перевозки спецназа к месту боя и смерти.

С высоты птичьего полета озеро напоминало растянутую для просушки шкуру, мездрой вверх. Горные цепи окаймляли лоснящуюся воду с севера и с юга, а на востоке светились ледяное наверху Хан-Тенгри, подсвеченное высоким солнцем в золотой и алый тона. Самолет то проваливался в воздушные ямы, то карабкался по отрогам туч. Сопровождающий Руслан, разлегшись на полу и подложив под голову свой мешок, безмятежно спал, а дядя Жора с кислым видом наблюдал небесную стихию через мутный иллюминатор. По пути к Хан-Тенгри нам предстояло совершить промежуточную посадку и принять на борт второго сопровождающего, местного коновода с практическим опытом.

Мы сели посреди гор, на окраине какого-то кишлака с райским названием Пои-Мурда. Незаглушенный двигатель самолета кашлял и стрелял. Коновод протиснул в узкую дверцу ящик водки, а затем ввалился и сам.

– Салям-aleyкум, Питьке! – приветствовал коновода разбуженный мелодичным звоном бутылок Руслан.

– Здоров, братан! – уложив на ящик винтовку-малопульку, отозвался Питьке и захлопнул за собою овальную дверцу, отделяющую нас от небесного пространства.

Надо сказать, что, судя по славянским чертам лица, Питьке был никакой не Питьке, а, скорее, Витька либо Петька. Его заросшая рыжей щетиной морда и нос пуговкой пришлась бы куда более к стати в какой-нибудь деревеньке на орловщине или тульщине, чем в кишлаке Пои-Мурда. Но неисповедимые пути Господни – как духовные, так и ножные.

– Как его звать-то, а, дядя Жора? – прокричал я, наклонившись к уху нашего егеря: «кукурузник» как раз поскакал на взлет.

– Да Витька это Еремин, – сказал дядя Жора. – А лошадей уже на месте возьмем.

– Он водки вон принес целый ящик, – сказал я и замолчал, ожидая реакции егеря.

– Ну да! – оживился дядя Жора. – А как же! В горах денег нет, откуда там деньги. Вот бутылкой и будем платить, и самим тоже надо. Ты не бойся, обратно не потащим!

– А Марко Поло уьем или как? – спросил я с сомнением.

– А как же! – успокоил меня дядя Жора. – Обязательно! И волков наловим.

– Каких волков? – спросил я уже с дурацкой улыбкой. – Как?

– А вот сеть, – объяснил дядя Жора и указал на бредень, валявшийся в хвосте самолета.

Дик этого разговора не слышал, а то бы порадовался вместе со мной.

Не скажу, что я завзятый охотник, но звериную кровь могу пролить. Да, могу.

Всякой охоте предшествует продуманная тщательная подготовка, а завершает ее дружеская пирушка на природе: шипит на огне мясо, и водка, журча, бежит к печени охотников. Люди с сердечной радостью, как в добрые допотопные времена, пожирают убоину, добытую собственными руками. Тут и костер, и звездный вечер, и увлекательные лживые рассказы... Исключение составляют лишь профессиональные охотники, которые колотят дичь на продажу: те не пируют и не врут у костра.

Подготовка начинается задолго до часа стрельбы и включает в себя выслеживание, преследование, загон или засаду; всем хватает дела. Сам выстрел занимает считанные секунды: «Бах, трах!» – и кусочек обточенного свинца вонзается в тело зверя и валит его на землю. Или подранивает, и тогда он остается инвалидом на всю оставшуюся жизнь. Или пролетает мимо. В этих двух последних случаях запасливые охотники имеют в своих мешках кое-что про запас: тушенку, лук, хлебешек. Не помирать же с голоду посреди леса или гор, если охотничья удача прошла стороной! Наоборот, этот неприятный случай надо отметить как положено и смочь горький осадок. Человек от чего выпивает? Ну, это давно известно: либо от радости, либо от горя. А третьего не дано.

Наша подготовка пошла своим ходом, когда мы с Диком вышли из дверей гостиницы «Снежный барс» и сели в микроавтобус, чтобы ехать на аэродром. Около полудня мы приземлились в конечной точке – на покато лугу, за которым бежала прыткая горная речка. На лугу белела юрта, из дырки в ее круглой крыше выползал голубоватый дымок. Тут же стояла у коновязи четверка лошадей, внимательно наблюдавших за приземлением нашего самолета.

Пилот подрулил почти к самой юрте и заглушил мотор. Образовалась приятная тишина, сквозь которую с усилием пробивался звон речных струй. Мы долетели, небо отпустило нас без ущерба и без потерь.

Заслышав тишину, из юрты вышел пожилой киргиз с усами, в парадной лисьей шапке. Придерживая полсть, он пропустил нас в свое войлочное жилище, посреди которого горел невысокий костерок. У стены против входа было сложено в аккуратную стопку полдюжины разноцветных, как леденцы, одеял. Дик жадно озирался по сторонам, ему здесь нравилось.

– Абдильда это, – кивая на хозяйина, сказал дядя Жора. – Мужик стоящий: и играет, и поет.

– На чем играет? – попытался я уточнить: в юрте не видно было ничего, хоть отдаленно напоминающего музыкальный инструмент.

– Да на всем! – сказал дядя Жора. – И поет.

Витька тем временем втащил, пятая, ящик водки и установил его близ входа, на кошме. Убедившись, что ящик красиво стоит, он вытянул из ячеек две бутылки и положил их на достархон у костра.

– Можно начинать, – сказал Витька и улыбнулся. – Как говорится, со счастливым прибытием! Стаканы давай, Абдильда, чего телиться...

Юрта, как выяснилось вскоре, была поставлена здесь специально к нашему приезду: фирма г-на Конурбаева отработывала свои 9837 долларов. Дело теперь было за малым: убить Марко Поло. Ни я, ни Дик не знали, что мы потом с ним сделаем: съедим ли его здесь, в юрте, или устроим пикник на горе Хан-Тенгри. Но и неудача все же не исключалась на корню, выглядывала тайком из-за горных зубцов. Впрочем, с такими ребятами, как дядя Жора, Руслан и небритый Витька шанс на успех был высок. О том же, как видно, думал и Дик своим американским помидором.

– Марко Поло – хороший? – спросил он вдруг у дяди Жоры.

– Обязательно! – рассеянно сказал дядя Жора, следивший за тем,

как Витька разливает водку по стаканам. – Вкусный очень. Осенью у него жира на два пальца.

– За все хорошее! – держа стакан на уровне зубов, сказал Витька. – И, конечно, за нашего дорогого гостя из Америки. – Как зовут Дика, он не знал, поэтому ограничился географическими сведениями.

Охотники пили водку с облегчением. Абдильда высypал на достархон сваренные в бараньем жиру боорсаки, а Руслан достал из своего мешка кока-колу в жестянках, шоколадные батончики «Марс» и диетическую жевательную резинку без сахара.

– Сейчас бешбармак, а потом отдых, – объявил Абдильда.

– А на охоту завтра? – спросил Дик.

– Завтра экскурсия, – сказал Абдильда. – Тут, говорят, древние люди когда-то жили, интересно же.

– А на охоту когда? – спросил Дик.

– Куда спешить? – удивился Абдильда. – Кушать надо, отдыхать надо!

Дядя Жора прислушивался к разговору вполуха. Подправляя пальцем непослушную вставную челюсть, он старательно жевал диетическую резинку. Шрам на его носу порозовел. На дядю Жору приятно было смотреть: накануне трудной охоты на Марко Поло этот человек был совершенно безмятежен и получал удовольствие от текущей жизни.

– Дядя Жора, – почтительно спросил я, – а что это у тебя с носом? – Такие вопросы вполне уместно задавать за вином, после третьей.

– Микроб укусил, – охотно объяснил дядя Жора и тычком вернул на место выскочившую челюсть.

Я хотел было спросить, как он собирается обходиться на охоте без ружья, но раздумал: недостаточно было выпито.

Часа через три об охотничьей экспедиции не заходило и речи. Говорили, дружелюбно перебивая друг друга, о заоблачных ценах в городских дуканах, о близких и дальних родственниках, о мрачных перспективах на будущее в окрестностях Хан-Тенгри и в Америке, о тающем на глазах поголовье овец, о волках, дерзко появляющихся на улицах кишлаков и о каком-то Соловьеве, застреленном на прошлой неделе в самом центре Москвы, с близкого расстояния. Собрались на постсоветском пространстве, за водкой, бывшие советские люди, и им было не до Марко Поло. Каждый предлагал свой план устройства новой жизни, отличный от других: осушить озеро Иссык-Куль и со дна пускать ракеты на Луну, или продать китайцам тьянь-шаньские горы и вырученные деньги поделить поровну между гражданами, или распустить милицию и присоединиться к Соединенным Штатам Америки. Дик тоже внес предложение: всех горожан переселить сюда, в горы, поближе к природе, и пусть занимаются скотоводством; и тогда, при полной рабочей отдаче, можно будет года через три-четыре догнать Новую Зеландию по производству баранины. Такая перспектива не зажгла выпивающих. Дядя Жора меланхолично клевал перешибленным носом, а Витька, отвернувшись в сторону, громко хихикал. Да и Абдильда с Русланом не видели ничего путного в рабочем соревновании с неведомой Новой Зеландией и неодобрительно покачивали головами.

– Ты нам лучше про Америку расскажи, – попросил дядя Жора. – Как там вообще-то? Поют, играют?

Но Дик не склонен был рассказывать про Америку, он пустился в путаный рассказ о своих приключениях в зарослях острова Борнео. Киргизы вежливо слушали Дика, а дядю Жору природа тропического острова с его змеями и крокодилами ничуть не занимала, он, поджав под себя ноги, задумчиво сидел на кошке, мурлыча что-то себе под нос неожиданно приятным голосом.

За бешбармаком, водкой и легкими разговорами хорошо сидится. Время сбрасывает свой раковый панцирь, оно не подразделяется больше ни на минуты, ни на часы и выходит из повиновения железным стрелкам, бессмысленно бредущим по кругу. Вместе со временем возвращается к первоначальному положению и пространство. Америка уже не располагается в пятнадцати часах полета от Хан-Тенгри, за Атлантическим океаном – она просто далеко, как всякий далекий предмет: Москва или Луна. Да и Тель-Авив, хоть он и поближе, совершенно не виден; а раз так, то к чему ломать голову над тем, как там обстоят дела с иракскими ракетами – нацелены они на редакцию моей газеты или больше почему-то не нацелены?

Обо всех этих материях, наряду с запуском междупланетного корабля со дна осушенного озера Иссык-Куль, мы согласно толковали за достархоном. Так прошел первый день охоты на Марко Поло. И сумерки пришли к юрте на своих синих ногах.

На чистом горном воздухе хорошо спится. Ранним хрустальным утром, разлепив глаза, я обнаружил себя лежащим на полу юрты, в

красном конверте, сложенном из широкого одеяла, набитого верблюжьей шерстью. По соседству в голубом конверте мирно спал Дик, а дядя Жора лежал с открытыми глазами, под бараньим тулупом.

– Здоровье как? – мутно глядя, спросил дядя Жора. – Сейчас выпьем по маленькой, позавтракаем – и на экскурсию. А я пойду зайцев наловлю на обед, Абдильда просит.

– Я с тобой! – вызвался я с открытой душой. – И Дик пойдет.

– Не! – отклонил дядя Жора. – Заяц шума не терпит, к нему подход нужен.

– А как же ты без ружья-то? – задал я уместный вопрос. – На зайца?

– Ничего! – махнул рукой дядя Жора. – Управлюсь как-нибудь.

– Он ружье свое год уже как пропил, – донес Витька, вошедший с воли.

– Ну да, пропил! – охотно подтвердил дядя Жора. – А на кой оно мне, это ружье? В тебя, что ль, в дурака, палить?

– А хоть бы и в меня, – без спора согласился Витька. – Охотник без ружья не бывает, ты у кого хочешь спроси.

Витька был прав. Дядя Жора снова махнул рукой, отвел глаза и прекратил бесплодный разговор.

– Ну, иди, что ли! – сказал Витька, ухмыляясь во всю свою небритую рожу. – Сеть-то берешь?

– На кой она мне, эта сеть? – хмуро удивился дядя Жора. И добавил уже совсем ни к селу, ни к городу: – Ветер же!

Но не было никакого ветра. Намотав портянки и натянув сапоги, дядя Жора ушел ловить зайцев, а мы с Диком потянулись к рукомойнику умываться. Абдильда тем временем сложил наши одеяла, раскинул достархон и притащил казанок с кипящей шурпой. Появилась и бутылка водки по соседству с казанком. Витька, подцепив когтем, содрал с бутылки колпачок.

– Похмелимся и поедем, – сказал Абдильда. – Как спали? Хорошо?

– Куда поедем? На охоту? – с надеждой спросил Дик.

– К древним людям, – твердо сказал Абдильда. – По плану.

Отправились втроем – Абдильда и мы с Диком. Витька и Руслан остались, сославшись на подготовку к охоте, к ее заключительному этапу. А мы пошли.

Мне нравятся древние люди, эти лохматые ребята с дурными манерами. Я живо представляю себе, как они сидят в своей пещере, вокруг костра, как, укореняя устную литературную традицию, сочиняют лживые рассказы о ловчих, а возможно, и любовных похождениях и ревут песни, размахивая обглоданными мослами оленей и кабанов. Я испытываю к ним родственные чувства и умиленно удивляюсь себе самому. Иногда мне хочется оказаться среди них.

Дику ничего такого не хотелось. У подножья Хан-Тенгри он испытывал лишь одно желание: убить Марко Поло, и как можно скорей. Поэтому заваленная валунами долина, куда привел нас Абдильда, ничуть его не обрадовала. Разглядывая изображения людей и зверей, нацарапанные на камнях нашими древними родственниками, он явно скучал.

– Я спросил у Абдильды, как зовут мою лошадь, – сказал мне Дик. – И вы знаете, что он мне ответил?

– Ну, что? – не смог я угадать.

– Лошадь! – сказал Дик. – Просто лошадь!

– Да-а... – сказал я. – Зато он вас не обманул, а ведь мог запросто – как хоть с этими рисунками.

– Что вы имеете в виду? – насторожился Дик. Он не любил, когда его водят за нос.

– Может, их тут понаделали специально к вашему приезду, – сказал я. – Привезли какого-нибудь народного художника с орденом, он и нарисовал.

– Черт их возьми! – в сердцах сказал Дик. – Надо спросить у дяди Жоры, он, мне кажется, честный человек.

Честный дядя Жора появился в долинке под конец осмотра. Охотничьи трофеями он не был обременен, зато тащил за собой на веревке собачку величиной с сурка.

– Заяц где? – цыкнув слюною сквозь зубы, спросил Абдильда.

– Что я тебе – рожу его, что ли? – отпарировал дядя Жора. – У него четыре ноги, а у меня всего две... – Наш егер, как видно, хлебнул водочки, настроение у него было безоблачное. Но и Абдильда одним вопросом не ограничился.

– А кошку эту зачем привел? – хмуро спросил Абдильда, указывая на собачку.

– Это не кошка, – справедливо заметил дядя Жора. – Я ее на Марко Поло пушу, она загоняет будет.

– Она загонит... – сказал Абдильда и снова сплюнул.

Я с опаской оглянулся на Дика, скептически поглядывавшего на егеря и его дворняжку. Ясно было и слепому, что эта собака в лучшем случае поймает блоху на собственном хвосте.

– Я одно хочу понять, – строгим голосом сказал Дик. – Марко Поло – где? И как мы его возьмем?

– Э, милко! – оживился дядя Жора. – Ты не сомневайся нисколечко! Тебе за такие бабки Чингисхана на цепи приведут, не то что Марко Поло.

Ответ, однако же, не удовлетворил Дика. Неодобрительно покачав головой, он с неприязнью поглядел на собаку и сунул в рот жевательную резинку из запасов Абдильды.

– А древние люди, – желая разрядить обстановку, спросил я у дядя Жоры, – здесь жили, как думаешь? Или нет?

– Да кто ж их знает, – резонно ответил дядя Жора. – Тут, вообще-то, неплохо: трава, деревья.

Абдильда остался недоволен ответом.

– Они все ж не птицы, – заступился за допотопных обитателей этих мест Абдильда, – чтоб на деревьях сидеть.

С экскурсии возвращались молча, в подмоченном настроении. Повистывали сурки, стоя торчком у входов в свои норы.

К ужину стало ясно, что питье водки в юрте, экскурсия, наблюдения за полетом птичьих стай и утренняя прицельная пальба по порожним бутылкам — все это входит в пакет услуг, обозначенный как «шестидневная охотничья экспедиция», венцом которой явится убийство Марко Поло. Меня такой расклад событий ничуть не тяготил: пусть тезка великого венецианца попрыгает еще день-другой по горным крутизнам. Я с легкостью души обсуждал с Абдильдой виды на овечий приплод, с Русланом – несомненные преимущества американского доллара перед невиданным покамест на берегах Иссык-Куля евро. Не оставался в стороне от беседы и Витька, его интересы нацеленно распространялись на Государство Израиль: почему там недвижимость, почему там рубленый свинец для снаряжения охотничьих патронов. У меня сложилось впечатление, что Витька собирается ехать в еврейскую страну на ПМЖ и присоединиться там то ли к израильскому спецназу, то ли примкнуть к палестинским террористам. В ответ на мой вопрос о семейном положении Витька разъяснил, что отнюдь не женат, но имеет сильное желание создать семью. Есть у него уже и девушка на примете, вдова средних лет по фамилии Коган, с двумя детишками – девочкой и мальчиком. И это чистосердечное разъяснение укрепило меня во мнении, что наша скорая встреча с Витькой где-нибудь под оливами Иудеи или Самарии практически неизбежна. Ну, что ж, будь что будет.

А дядя Жора помалкивал. Накормив свою собачку остатками шурпы, он уселся в юрте, в стороне от костра, и подремывал, не прислушиваясь к разговору. Из этого приятного состояния его вывел Руслан.

– Кончай спать-то! – сказал Руслан. – Спой, что ли, что-нибудь, а то люди скучают.

И дядя Жора запел без дополнительных уговоров, обычных в таких случаях – как будто кто-то взял и повернул рычажок, нажал на кнопку, спрятавшую на его нескладном теле.

– Здоров ли, князь? – пел дядя Жора. – Что приуныл ты, гость мой? Что ты так призадумался? Аль сети порвались? Аль ястребы не злы и слету птицу не сбивают? Возьми моих!

– Охотничья песня? – уставившись на дядю Жору с большим изумлением, спросил Дик.

Дядя Жора, продолжая петь, взглянул на Дика укоризненно.

– Это «Князь Игорь», – сказал я, дивясь не менее Дика. – Опера. Ну и ну! А как поет!

– Он поет о-го-го, – со знанием дела подтвердил Абдильда. – Хоть в театр отдавай.

– От души поет, – одобрительно отозвался и Витька – мой будущий согражданин.

– Ни сна, ни отдыха измученной душе, – с оттенком грусти продолжал петь дядя Жора. – Мне ночь не шлет отрады и сомненья. Все прошлое я вновь переживаю – Один в тиши ночей.

Князь Игорь вполне убедительно жаловался на жизнь, да и декорация была подходящая: войлочная кибитка, дикий костерок, кони на воле. А об окружающем нечего было и говорить: чем Абдильда не Кончак, Руслан – не басурманин? И Витька с своей небритой мордой как нельзя лучше вписывался в разбойную компанию.

Взмахнув руками, дядя Жора продолжал без перерыва, в другом ритме:

– Бык летит вперед стремглав, дико рыча. Взрывая землю, бык неслется, опять удар, и вновь забрызган кровью цирк.

– Ну, это «Кармен», – не сводя глаз с солиста, пробормотал Дик. – Это ясно.

– Смелей на бой! А! – заливался дядя Жора. – Торeadор, смелее, торeadор, торeadор! Знай, что испанок жгучие глаза в час борьбы горят живой.

Испанками в нашей юрте и не пахло, а глаза горели неподалеку разве что у волков, которых дядя Жора собирался наловить бреднем. При всем сюрреализме картины под названием «Охота на Марко Поло» – нам тут только Сальвадора Дали на хватало с муравьедом на цепи – оперные арии под тюндюк-жалом, в исполнении дядя Жоры, вписывались в полотно с большим трудом. Состав слушателей тоже не способствовал гармонии восприятия музыкальной классики. Тут более к месту пришлось бы песни попроще, вроде «Я встретил девушку, полумесяцем бровь» или даже «Шумел камыш, деревья гнулись, а ночь темная была». Внимательно слушая с поджатыми губами, Дик сделался задумчив. Мне показалось, что плодотворный исход нашей охотничьей экспедиции представляется ему сомнительным: где Марко Поло, где славная пирушка на месте удачного выстрела, где пропитое ружье заливающегося соловьем егеря! И все же на месте Дика я, пожалуй, заплатил бы десять тысяч долларов уже за то, что мы вдруг очутились в этом дивном Зазеркалье, у подножья горы Хан-Тенгри. И черт с ним, с Марко Поло, пусть живет дальше. А мы, если повезет, собьем камнем какого-нибудь заваливающего кеклика за пятнадцать баксов.

Дик, вероятно, думал несколько иначе. Десять тысяч – немалые деньги, у меня таких нет ни в кармане, ни тем более в банке, а расходы высоки. Пеня дядя Жору Дик было недостаточно. Не успел тот закончить арию Сусанина, как Дик снова взялся за свое:

– А на охоту когда поедем? Давайте завтра с утра! Сядем и поедем! А на обратном пути уже будем отдыхать.

Абдильда не возражал. Он вообще по природе своей был типичным нонконформистом.

Выехали после завтрака, не спеша. Сял мелкий перламутровый дождик. Лошадки вышагивали вверх по узкому зеленому ущелью, река азартно прыгала нам навстречу с камня на камень. Сгорбившись, как ловчий сокол, Абдильда лениво сидел в глубоком горном седле, следом ехали мы с Диком, а Витька с малокалиберной винтовкой, сунутой стволом под левое колено, и с оттопыренными полосатыми хурджунами замыкал цепочку. Руслан остался сторожить юрту: придет, неровен час, бедовый человек к подножью Хан-Тенгри и все украдет. Мы вернемся, а тут пусто: ни юрты, ничего. Хорошего мало.

Дядя Жора от лошади отказался, и Абдильда не стал настаивать: дело каждого человека, как передвигаться с места на место. Дурак в Москву пешком пойдет, а умный и до ветра поедет верхом. Дядя Жора смотрел на вещи иначе: лучше на своих двоих, чем на четырех чужих, тем более никто точно не знает, что лошади может прийти в башку. Вот он и поспевал за нами, наш певчий егерь, пешим ходом, за ним трусила давешняя собачка, а бредень для ловли волков был оставлен в юрте, под бдительным присмотром сторожевого Руслана. Так мы продвигались вперед, вперед и вперед – туда, где, не ожидая встречи с нами, призывно пасся Марко Поло.

Трижды мы останавливались на отдых, и Витька выживал из своих хурджунов дорожную снедь, мало чем отличавшуюся от стационарной: лепешки, холодное мясо, опущенное застывшим жиром. Наши проводники дружно выпивали бутылку на троих для хорошего настроения, мы с Диком цедили растворимый кофе из термоса. Я бы без уговоров присоединился к проводникам, но было почему-то неловко перед Диком: он в таком случае оставался в одиночестве, маедине с коричневой теплой бурдой. А водку пить он отказывался, мотивируя это свое категорическое нежелание тем, что от алкоголя, мол, непременно разразится горная болезнь. Дядя Жора, на практике изучивший действие спирта в горных условиях, смущенно улыбался вопиющему заблуждению ближнего, а Абдильда, выпивая с удовольствием, в спор не вступал: болезнь так болезнь, разразится так разразится.

Поближе к вечеру, но еще перед сумерками Абдильда выпрямился в седле и сделался деятелен и строг.

– Тут спать будем, – объявил Абдильда, – а завтра пораньше пойдем в щель, вон туда, будем там сидеть. Марко Поло придет.

Излагая план охоты на Марко Поло, Абдильда даже не взглянул на нашего егеря. Другой бы, может, и обиделся, стал шуметь и качать права: я, мол, егерь, а ты, Абдильда, кто такой? чего командуешь? – но дя-

дядя Жора даже не взглянул на захватчика охотничьей власти. Скинув заплечный мешочек, он послушно опустился на камни и вытянул уставшие ноги, а потом стащил с головы шапчонку и вытер ею мокрый лоб. И Витька спешился и снял с лошади хурджуны.

– Огонь разводил! – указал Абдильда. – Ставь палатку!

Палатка предназначалась для нас с Диком – изнеженных детей западного мира. Абдильда намеревался противостоять ночной стуже с помощью барсового тулупа, а Витька, похоже, всецело полагался на благоприятные обстоятельства: отсутствие дождя и ветра. Такое отношение к жизни, несомненно, облегчит моему будущему согражданину существование в израильских краях – не таких дождливых и ветреных, но зато густо прошитых пулями и начиненных взрывчаткой.

Жарко ли, холодно – к рассвету иззябли все, включая собачку дяди Жоры.

Урочище, упомянутое накануне Абдильдой, рассекало земную твердь по ломаной прямой и круто уходило вверх, к снежным полям Хан-Тенгри. Один склон урочища порос густым арчатником, другой, обрывистый, был завален каменными глыбами величиной с одноэтажный коттедж. Несомненная первозданность здешнего мира внушала уверенность в том, что мы здесь совершенно одни, никого нет кругом на добрый день пути и что Марко Поло обязательно появится, и даже не один, а в компании со снежным человеком, проживающим тут рядом.

Проставив ко лбу дощечку ладони со свисающей с запястья камчой, Абдильда озабоченно оглядел окрестности с седла и, как будто, остался удовлетворен. Он был похож, в своем барсовом тулупе и лисьем малахе, на знаменитого монгольского полководца Субудай-багатура перед решающим сражением с русичами; хотелось с открытой душой во всем его слушаться и повиноваться – хотя бы ради сохранения жизни. А Дика, наверняка, более всего тянуло сейчас сфотографироваться на память с барсовым Абдильдой, но ему не доставало решимости попросить нашего командующего об этом одолжении.

– Вы сидите в кустах, вон там, – распорядился Абдильда. – Не курите, не шуметь. Марко Поло будет спускаться в щель с той стороны, по камням. Когда он дойдет до середины обрыва, стреляйте.

Отдав распоряжения, Абдильда тронул коня. Витька на своей кобылке поехал за ним. А мы с дядей Жорой, спотыкаясь, потащились вниз по склону к указанным нам кустам и, опустившись на землю, пропали в них, как в зеленой воде.

– И долго нам тут сидеть? – кое-как обустроившись, спросил Дик.

– Ну, как... – призадумался дядя Жора. – Часа три просидим, четыре.

Сидеть три-четыре часа в засаде, на охоте – дело рутинное; бывает и хуже. Так, во всяком случае, набросал мазками наше положение Дик, вспоминая о похожей ситуации, сложившейся как-то на Новой Гвинее, в джунглях: там охотники, притаившись, ждали семнадцать часов кряду какого-то чепрачного кабана, да так и не дождались.

– Придет Марко Поло, – успокаивал нас дядя Жора, – куда денется. Абдильда его подгонит поближе, а потом уже я возьмусь за дело.

Участие дяди Жоры в деле, в решающей его фазе, не обрадовало Дика: лучше б барсовый Абдильда сам управлялся. Но дядя Жора был настроен деятельно и немного торжественно, как русский человек перед баней. В таком состоянии он, пожалуй, и на волка бы набросился с бреднем.

– Ты выпил, дядя Жора? – вздохнув, спросил Дик.

– Я? – непонятливо переспросил дядя Жора. – Чего-чего?

– Ну, принял уже? – уточнил я. – Или еще не успел?

– Ни-ни! – дядя Жора протестующе повел тонким пальцем перед своим искалеченным носом. – Абдильда не налил.

За разговорами ожидание шло почти незаметно, время не тянулось по урочищу, а ровно бежало иноходью, повода красивыми боками. Дик уложил свою двустволку на колени и то и дело поглаживал ее и охлопывал, как девушку или близкое домашнее животное.

– Наша жизнь – что? – говорил и рассуждал между тем дядя Жора.

– Ну, что? – поторопил события Дик.

– Привычка! – сказал дядя Жора. – И больше ничего.

– Ну, почему же! – оглядывая сквозь прорехи куста противоположный склон, возразил Дик. – Вот, например, смотреть телевизор – это привычка, да. Или даже курить.

– А пить – нет, – встал я и взглянул на дядю Жору. – Пить это удовольствие, оно никак не может стать привычкой.

– Я шире беру! – взмахнул руками дядя Жора. – Вот раньше ведь убивали по собственному усмотрению? Убивали! И никому даже в голову не приходило, что это не годится. А почему? Потому что привычки.

– Что ж, это верно, – согласился Дик. – Это ты подметил интересно.

– Ну вот, – продолжал дядя Жора. – И потом подумали: так нельзя, в этом деле надо навести общий порядок. Старая привычка околела, новая родилась на свет: нельзя убивать. И мы все теперь к этому привыкли, по-другому никто даже не думает.

– Ну да, – возразил я, – а то сегодня никто друг друга не убивает. Ты вон радио послушай! Того застрелили, этого зарезали...

– Это потому, что всегда кто-нибудь думает против правил, – объяснил дядя Жора. – Когда убить было все равно, что раз плюнуть, тоже всегда находился какой-нибудь чудака, вроде белой вороны, и не убивал. Не убивал, и все!

– И это был инакомыслящий, – пробормотал я в сторону. – Допотопный диссидент. – Как видно, Абдильда все же плеснул дяде Жоре в стакан, пожалел-таки человека. Иначе с чего бы пропивший ружье егеря полез в такие рассуждения?

– Да, диссидент, – расслышал меня дядя Жора. – Можно и так сказать. Ну, как академик Сахаров, что ли.

Если б я мог, я бы с облегчением не поверил своим ушам: иссыкульский алкаш знает имя Сахарова, знает само это слово – «диссидент»... Это невозможно, потому что это просто невозможно! Дик тоже разинул рот и глядел на нашего егеря с большим изумлением. Так, наверно, он уставился бы на какого-нибудь папуасского людоеда, пустившегося в рассуждения о вкусовых качествах кетчупа.

– А вот я все хотел спросить насчет этих песен, – сказал Дик. – Про быка, про князя...

Дядя Жора молчал – то ли не понял, куда клонит Дик, то ли не хотел почему-то отвечать.

– Откуда ты их знаешь? – напрямик спросил я. – Ну, арии, арии!

– А, это... – фальшивым голосом сказал дядя Жора и сощурил глаза под надвинутой на лоб шапчонкой. – Да я раньше в музыкальной школе работал, в Токмаке, вел класс сольфеджио.

Токмак городок небольшой, одноэтажный, не знаменитый ничем. По наши времена сохранилась там районная библиотека и краеведческий музей – бастионы местной интеллигенции, а сельхозтехникум и музыкальную школу закрыли вскоре после получения Киргизией независимости, из-за недостатка средств. Казенное оборудование растащили, преподаватели разбрелись по Великому шелковому пути куда, в поисках прокорма.

Специалисты по сахарной свекле и джугаре прибились к зеленым берегам чуйских полей, а постановщик музыкальных голосов дядя Жора так и не нашел себе применения: киргизам было не до пения, а кто, вопреки трудным обстоятельствам жизни, упрямо желал распевать песни, легко обходился без преподавателя сольфеджио. Промаявшись с полгода без работы, дядя Жора пошел в поводу у душевной русской традиции: запил горькую. Верных товарищей в этом приятном деле всегда в избытке, и дядя Жора не скучал в одиночестве, наедине со стаканом. Вещички стали исчезать из дома, словно унесенные ветром. За выходным костюмом хозяина пришла очередь беличьей шубки жены, а там и кастрюльки со сковородками потянулись с кухни в обмен на утреннее пиво: стесненное до хрипа финансовое положение очень способствует возрождению опробованного веками натурального обмена.

Отчаявшись переломить ход судьбы, жена побросала в чемодан остатки былого достояния и уехала в Россию, к тетке, под Саратов. Девятилетнего сына она увезла с собой. Женщина вела себя безупречно, давняя проржавевшая любовь барахталась в ее сердце: до последнего дня она уговаривала и убеждала дядю Жору ехать вместе с ней под Саратов и начинать там, под покровительством тетки, новую жизнь. Но, отведав хмельной свободы, дядя Жора и не думал возвращаться из милых азиатских краев на историческую родину; здесь ему было привычно. После отъезда жены с сыном как-то сама собой отпала нужда в доме с огородом, на тихой улице. Дом был продан и пропит, дядя Жора перебрался на житье к товарищам, в заброшенную кибитку. Надо сказать, что изрядную часть денег, вырученных от продажи недвижимости, дядя Жора намеревался переправить жене. Он и на почту ходил, и узнавал, можно ли оформить денежный перевод – но потом выяснилось, что при переезде в кибитку адрес саратовской тетки потерялся безвозвратно. Оставалось лишь ждать вестей от уехавшей жены, а деньги жгли карман нестерпимо, да и вести с саратовщины, как назло, никакие не приходили: жене было не до писем, или любовь обессилела, перестала барахтаться и камнем пошла ко дну.

На исходе первого года вольной жизни дядя Жора загремел в тюрь-

му. Повод был дурацкий: случилось хулиганство, случилась драка с применением разнообразных подручных средств. Обливающегося кровью дядю Жору доставили в участок, оттуда в суд и там, ни на шаг не отступая от демократической процедуры, впяли ему полтора года отсидки. За колючкой он вспомнил, наконец-то, профессию: в хоровом кружке блатари и разбойники под его руководством распевали дроздами и соловьями. И через полсрока, за хорошее поведение и культурный вклад, дядя Жора был выпровожен на свободу.

Идти ему было некуда, жить негде: товарищи, не внесшие культурный вклад, досиживали срок, а кибитку предприимчивые бедовые люди приспособили под торговую палатку, открытую круглые сутки. Таким образом дядя Жора превратился в гражданина без определенного места жительства, иначе говоря, в бомжа. После тюремного музыкального кружка новый статус пришелся ему не по душе. Пробомжевав зиму и весну, отошавший и одичавший, он по Чуйской долине, по Великому шелковому пути двинулся пешком на Иссык-Куль – там, в курортных приозерных местах, светила надежда прокормиться и отогреться душой.

Поздней осенью, перед снегом, когда обитатели иссык-кульских берегов готовятся к зимней спячке в окружении припасенных впрок банок с домашними соленьями и вареньями, дядя Жора определился за койку в общежитии и одноразовое утреннее питание в местное охотничье хозяйство – мыть полы, сторожить, топить печку. Хозяйство дышало на ладан: правительственные чиновники благородной охоте с беркутами предпочитали теперь ловлю рыбки в мутной воде, а рядовое население, ни у кого не спросясь, ловило себе заповедное зверье, будь оно занесено хоть в Красную книгу, хоть в Золотую – на шкуру или в котел. Книжка платных лицензий на отстрел диких животных лежала в сейфе без движения, резиновая круглая печать засохла и не годилась никуда. К лету охотничье хозяйство приватизировал владелец трех десятков прибрежных ларьков и прогулочного катера «Звезда Иссык-Куля» г-н Конурбаев. В контору наняли полумойкой красивую девушку, а дядю Жору повысили и перевели в егеря. Теперь его судьба, как и судьба самого предприятия, зависела от иностранных туристов: приедут или не приедут поглядеть на жемчужину Центральной Азии, а если приедут, пожелают ли подстрелить осторожного улара, сердитого снежного барса или дурака Марко Поло.

Туристы иногда приезжали, и дядя Жора, с его легким характером, не отягощал себя заботами о завтрашнем дне и жил на чистом воздухе, на лоне дикой природы, в свое удовольствие.

– Жена-то нашлась? – спросил я, когда дядя Жора закончил рассказывать и сидел мешком, с полуулыбкой на просветлевшем лице. – Письмо прислала?

– А куда она пришет-то, – сказал дядя Жора и беспечно махнул рукой. – На деревню дедушке?

Дик сосредоточенно молчал, даже ружье свое оставил в покое. История дяди Жоры разбередила что-то в его душе, и вопросы клубились в ней, как птичья стая.

– Ну, хорошо... – сказал Дик. – Вот вы все-таки культурный человек, музыкант. И вдруг ваша жизнь меняется в худшую сторону: вы теряете работу, ничего не зарабатываете, становитесь бродягой. Вас сажают в тюрьму. Кто-то во всем этом виноват. Кто?

– Да никто, – сказал дядя Жора. – Мне хорошо, я никого не виню.

– Не может этого быть! – с напором продолжал Дик. – Ну, подумайте! Вы каждый день ходили в свою музыкальную школу, у вас была семья, дом. Вы все потеряли, хотя не сделали ни одной ошибки. Может, Горбачев во всем виноват? Вы сердитесь на него, злитесь? Но он великий человек, он разрушил империю зла. А вы ни за что, ни про что оказались под развалинами. Как же так?

– Да как... – нахохлился дядя Жора. – Вода-то течет, а мы на берегу сидим. Кому повезет, форель вытащит, а другой ничего не поймает, останется голодным. Но воде-то это все равно!

– А Бог? – спросил Дик у дяди Жоры.

– Ну, Бог! – легко, как о соседе за забором, сказал дядя Жора. – Вот уж мы и до Бога дотянулись. Ну, ладно, живы будем – поговорим вечером, если хотите... Абдильда знак подает, надо идти.

До нас долетел с ветром далекий прерывистый свист Абдильды. Дядя Жора поднялся на ноги и, взяв вправо, бегом пересек расщелину. Собачка потрусилась было за ним, а потом вернулась с полпути и улеглась под нашим кустом.

– Удивительный человек, – сказал Дик, глядя вслед исчезающему среди скал противоположного склона егерю. – Какая судьба, какая пла-

та за свободу! Стоило сюда ехать, даже если не получится убить Марко Поло. – Выглянув в прореху между ветвями, он тщательно приладил к плечу ружейный приклад.

Марко Поло появился минут через двадцать – крупный старый то ли баран, то ли козел, но, скорее, все-таки, баран. Зверь тряс головой с тяжелыми рогами, бока его, покрытые пятнами пота, ходили. Постояв недолго на самой кромке обрыва, он сделал первый разведочный шаг и стал спускаться. И немедля на том самом каменном пятачке, где только что стоял и примеривался к спуску Марко Поло, возник дядя Жора. Егерь размахивал руками, бил в ладоши и свирепо что-то кричал. Баран, вслушиваясь, застыл на миг, и дядя Жора бросился вниз, прыгнул в своем нелепом желтом плаще, как будто хотел схватить Марко Поло, облапить его и вывести на верный выстрел Дика.

Дик выстрелил из одного ствола, потом из другого – почти одновременно. Дядя Жора в последний раз широко взмахнул руками на ходу, а потом, сорвавшись, покотился по камням. Неподвижная туша Марко Поло остановила его. Так они и остались лежать на каменной полке, над обрывом – один поверх другого.

С Иссык-Куля мы возвращались вместе с Диком, в одной машине. В багажнике, завернутая в мешковину, помещалась просоленная голова Марко Поло, над которой еще предстояло поработать чучельнику.

На выезде из Чолпон-Ата, у памятной арки, Дик попросил водителя остановиться. Моросил дождь. Косо уперев ноги в землю, арка надменно глядела на зеленоватую воду озера.

– В конце концов, это все вопрос везенья, – пробормотал Дик. – Я ведь мог убить его из верхнего ствола, а так он отделался синяками. Полежит в больнице и выйдет...

– Еще неизвестно, кому больше повезло, – сказал я, – ему или вам. Убить дядю Жору – это все же совсем не то, что убить Марко Поло. Могли бы и посадить...

– А помните, как он сказал, – покачал головой Дик: – «Вода течет, а мы сидим на берегу. Одному достается форель, другому ничего не достается».

– Вы забыли самое главное, – дополнил я: – «Воде-то это все равно».

Гуревич

– Если все мертвецы вдруг встанут из могил, вот это уже будет полный атас, – сказал водила. Потом он опустил боковое стекло и аккуратно, чтоб не попасть в соседнюю «ауди», ползущую впритык, сплюнул.

Мело. Невский проспект, забитый машинами и людьми, еле тек между озябшими, заскорузлыми домами. Мело и темно.

Гуревич сел в этот «жигуленок» в Пулково, полчасика назад, и за все это время водила не проронил ни слова. Гуревича тянуло поболтать со свежим человеком, с землячком, рассказать ему о перелете из тельавивской жары в Санкт-Петербург, в эту холодрюгу, о том, что он не был здесь целых шестнадцать лет – с того самого дня, как уехал в библейские края, на историческую родину. Но угрюмое молчание водилы не располагало к душевному разговору, и Гуревич тоже решил молчать. Так и ехали. Глядя в окно, Гуревич нетерпеливо ждал, когда, после задуманного еще в Тель-Авиве объездного крюка, приедут в гостиницу. Замечание водилы насчет поголовного поднимания мертвецов прозвучало совершенно неожиданно.

Вначале Гуревич подумал, что ослышался: глядя на водилу, трудно было предположить, что он слышал когда-нибудь о Федорове. Сам, что ли, допетрил? Ну, это ж надо быть либо сумасшедшим, либо дважды сумасшедшим. Водила, меж тем, не был похож на безумца. Да и картина, намеченная им одним штрихом – мир, переполненный людьми, набитый вчерашними мертвецами Невского, где и так негде плюнуть – вот это все и было бы «полный атас», совершенно верно.

– Тебя как зовут? – спросил Гуревич. Если б не эта странная фраза о всеобщем воскресении, он не стал бы интересоваться именем случайного водителя: ему было все равно.

– Клим, – горько усмехнулся водила. – Родители были коммунаки те еще, называли в честь Ворошилова, конского этого. – И добавил уже совсем удрученно: – С шашкой.

Снова замолчали. Снег пошел отвесней и гуще, жидкое освещение с трудом пробивалось сквозь зыбкую пелену. Ранний вечер обволокло землю и все на ней театральной темнотой, покачивающейся на золотых гвоздях фонарных ламп. Что-то должно было случиться – неожиданное, негаданное – и изменить ход событий. Но ничего не происходи-

ло за окном машины. Очертанья города, в котором Гуревич появился на свет без малого сорок лет тому назад, были повиты лентами снега, а белый мир копошился и кишел черными людьми.

Крюк, который задумал сделать Гуревич по пути с аэродрома в гостиницу, вел вдоль по набережной Фонтанки, мимо собора, в тесную мешанину старинных домов, в одном из которых, на верхнем третьем этаже, на измызганной лестничной площадке коричневела обитая за-дубевшим дерматином дверь с тремя разномастными звонками, ведущая в квартиру № 8: три комнаты, кухня, коридор. Во второй комнате справа по коридору Гуревич когда-то жил, глядя в окно, выходящее во двор.

– Тут сверни, у светофора, – указал Гуревич Климу.

А в первой комнате жила девочка, в которую Гуревич был влюблен. Она жила с одинокой матерью, пьющей женщиной, в углу комнаты стояли высокие напольные часы с боем, немецкие, и строгая красивая музыка играла не в назначенный срок, а когда вздувается: в узком животе часов вдруг раздавалось урчание, и музыка начинала играть. С девочкой грустно все вышло и глупо: она вышла замуж за молодого артиллерийского офицера и уехала с ним к чертовой матери, на Дальний Восток.

Трофейные часы, плюшевые зеленые шторы.

– До угла и налево. А там прямо пока.

Да мало ли что там было, – пристально вспоминал Гуревич. Дома, в белой комнате с каменным плитчатым полом, с морем за окном и торговцем калеными фисташками у входа все, казалось, было вспомнено до последних мелочей: цинковое корыто на стене вечно темного коридора, и как звали кошку вторых соседей, приехавших из Казани и готовивших на свои татарские праздники национальный медовый торт под названием «чак-чак». Все это поднялось из темных недр души на поверхность, и перед отлетом ни о чем другом уже и не думалось. И все отчетливей представлялась картина: такси въезжает на Малую Луковниковскую, притормаживает у дома № 17, у подъезда – но не останавливается, а едет дальше, – и никто, никто не видит, как Гуревич в великом и счастливом волнении души утирает глаза пальцами.

Булочная на углу, палисадник с голыми костлявыми деревьями. До-щатая лавочка с отбитой спинкой.

– Останови! – строго сказал Гуревич.

Клим тормознул, машина пошла юзом.

Наклонившись к окну, цепко глядя на темный подъезд, Гуревич с пугающей ясностью не испытывал того, к чему был, казалось ему, всецело готов: легкие праздничные бабочки не порхали в его душе, и не пели золотые трубы. Он вообще не испытывал почти ничего, кроме тупой усталости, вдруг нахлынувшей. Серый дом, черный стильный подъезд с неприкаянно приоткрытой дверью, с болтающейся на жилах проводов домофонной панелью. И все же – родное гнездо... Это «все же», неизвестно откуда возникшее, крест-накрест перечеркивало воображенную с любовью картину.

– Я здесь родился, – не отлепляя лба от окна, сказал Гуревич. – Вот это мой подъезд... Зайти, как думаешь?

– Не надо, – прикинув, сказал Клим.

И Гуревич вошел.

Пахло мочой.

Этот запах, неизбежно знакомый каждому, встречающийся часто, но, тем не менее, никогда не приедающийся до такой степени, чтобы не обратить на себя совершенно никакого внимания и не заставить насторожиться, – этот запах, смешанный с ароматом пряностей и теплым духом парного мяса, заливал искривленные улочки иерусалимского Старого города, ведущие к Стене плача.

Он исчезал, словно обрубленный ножом, когда перед глазами идущего открывалась Стена, сложенная из камней цвета старой кости. И пришедший освобожденно вдыхал запах неба, лежащего на гребне Стены.

Белая площадь перед Стеной была велика и торжественно пустынна. Гуревич терялся на ней и был почти незаметен. Во всяком случае, не появись он здесь – мало что изменилось бы; так казалось со стороны.

Одна минута, двести шагов по площади к основанию Стены были дорогой всей жизни – от первого вдоха до последнего короткого выдоха. Время сморщивалось, сжималось в горошину, все вдруг смещалось и изменялось. Годы утрачивали тяжкий кирпичный вес, вольно размещались вокруг, как люди или кусты – вперемежку. Крестonosцы в железных шапках смело могли появиться здесь, и римские солдаты

в кожаных поножьях, с факелами в мускулистых лапах. И листья пламени уже пробиваются сквозь стыки камней и оплетают Стену. Разно-голосый смутный гул, белое на белом. Все рядом, на расстоянии вытянутой руки.

А в темном подъезде на Луковниковской время было раскатано в стальной лист, взгляд не достигал его края и потерянно скользил по скучной гладкой поверхности. Гуревич остановился посреди помещения. Вот по этой лестнице с оббитыми каменными ступенями, с выщербленными деревянными перилами он спускался шестнадцать лет тому назад – тяжелый чемодан в руке, за спиной рюкзак. Главное не выронить визу, билет на самолет... Гуревич всматривался. Ничто не обозначалось в сером пространстве. Тогда, постояв, он пригнул голову, как перед низкой притолокой, и шагнул к лестнице.

Возвращаясь из своего инженерного бюро домой, в белую комнату, за окном которой загорало на солнце Средиземное море, Гуревич привычно останавливался около уличного торговца фисташками с его снастью для ловли прохожих людей: разделенная на пеналы жаровня, а в пеналах каленые подсолненные семечки, маслянистые орешки кешью, лущеный миндаль, круглый глупый фундук. Завидев Гуревича, торговец – пожилой йеменский еврей в ковбойке и спортивной кепке с надписью «Летучий голландец» – насыпал ему в пакетик зеленовато-коричневые фисташки, выглядывающие на Божий свет из своей сдвоенной ракушки. «Спасибо!» – «На здоровье, мой господин!» Так повторялось изо дня в день – кроме субботы, когда Летучий голландец, надев на ковбойку черный пиджак, отправлялся в сефардскую синагогу и приставал к Богу с разными смешными мелочами, из которых состоит наша жизнь.

Не спеша поднимаясь по лестнице, Гуревич вслепую выуживал из пакетика одну за другой теплые фисташки, разъединял податливо приоткрытые половинки скорлупы и, увлеченно жуя, убирал сор в карман – сорить не хотел.

А семечки он никогда не покупал – они почему-то напоминали ему о России, он не желал, грызя подсолнухи и сплевывая лузгу с губы, бедить прошлое таким непочтительным способом.

Подойдя к двери, Гуревич был уверен, что не ошибся этажом.

Но не было ни пожухшего дерматина, ни разноцветных звонков. Дубовая лакированная дверь с резными филенками выдержала бы, казалось, размашистый удар торцом большого бревна. Дверь понравилась Гуревичу, хотя и вызвала в нем скрытую ревность. Протянув руку, он деликатно постучал по ней костяшкой согнутого пальца.

– Кто там? – расслышал Гуревич приятный женский голос.

– Гуревич, – сказал Гуревич.

– А вы от кого?

– От Клим, – дивясь, сообщил Гуревич первое попавшееся.

Дверь отворилась, с порога, пропуская гостя, шагнула в сторону милая женщина лет тридцати пяти, в расшитой бисером меховой кацавейке: топили в доме не ахти как.

– Мы тут проверяем, – объяснила Кацавейка. – Вы уж извините.

– Да нет, ничего, – сказал Гуревич, озираясь с сомнением.

– Евроремонт только сделали, – с гордостью сказала Кацавейка. – Красиво, да? Всем нравится.

Ни корыта не было в коридоре, ни велосипеда с одним колесом. С обоев на стенах глядели красногубые итальянские пастушки и сухопарые молодцы с усами. На потолке, в золотых переплетах, сверкали зеркала.

– Да вы проходите вот сюда! – пригласила Кацавейка.

В комнате, где проживал когда-то Гуревич, потолок был украшен такими же зеркалами, только собранными в круг. Широкая низкая кровать помещалась в углу, на журнальном столике стояла бутылка молдавского коньяка и хрустальная ваза с яблоками.

– А бокальчики-то! – спохватилась Кацавейка. – Сейчас, одну минуточку...

Она поспешно вышла, и в комнате немедленно появилась девчонка в медицинском почему-то халатике, с двумя бокалами в руке.

– Это Люся! – донесся из коридора приятный голос Кацавейки. – Люсенька! Знакомьтесь и чувствуйте себя, как дома!

– Ну, ладно, – пробормотал Гуревич. – Считайте, что договорились.

Не снимая пальто, он сел на краешек кровати. Здесь, как будто, стоял раньше письменный стол.

– Я, вообще-то, прыгаю с шестом, – поставив бокалы на столик, сообщила Люся. – А вы приезжий?

– Почему вы так думаете? – спросил Гуревич.
 – Сразу видно, – сказала Люся. – А что, не так?
 – Ну, так, – сдался Гуревич. – Давайте выпьем по рюмке, это нас ни к чему не обяжет. Я тут жил когда-то, в этой самой комнате.
 – Как интересно! – сказала Люся. – Яблоко вам почистить?
 Наливая, Гуревич отрицательно помотал головой. Клим, теперь вот прыгунья с шестом. Действительно, интересно. Более чем.
 – Ваше здоровье.
 – Вы пальто не будете снимать? – спросила Люся. – А то давайте, я повешу. Вы не беспокойтесь, у нас тут ничего не пропадает.
 – Нет-нет, – поспешно сказал Гуревич. – Я пойду сейчас.
 – Я вам не нравлюсь? – огорчилась Люся. – А то у нас тут другая девушка есть.
 – Нравится, – сказал Гуревич, снова наливая. – Не надо мне никакой другой девушки. Я, может, еще приду. Потом. За знакомство!
 Он вынул кошелек, достал деньги.
 – Это вам, а это за коньяк... Бывает же, а?
 – Бывает, – согласилась Люся. И халатик запахнула.

– Поехали!

Клим, дремавший над рулем, включил мотор и тронулся с места. Не ожидая расспросов, Гуревич нахохлился на своем месте рядом с водилой.

А она симпатичная, эта Люся. В конце концов, она не обязана была знать, что он, Гуревич, жил когда-то в этой самой комнате. Ну, жил. Она-то тут при чем?

С шестом она прыгает... Что за чушь, честное слово! Но, может, и прыгает – ноги-то вон какие, просто блеск. И ноги, и все остальное. А что туповатая, так это даже лучше: ум красивой девчонке ни к чему, он голову тьянет.

– Клим, а Клим! – позвал Гуревич. – Лучше русской девушки что может быть?

– Китайка! – с уверенностью сказал Клим.

Гуревич улыбнулся и пожал плечами в темноте.

– У тебя была, что ль, китайка? – спросил Гуревич.

– Врать не буду, – горько сказал Клим. – Не было... – И замолчал.

У Тали тоже все в полном порядке, все при ней – а как бы и ни к месту. Нет в ней вот этой беззаботности, бесшабашности на краю обрыва. Нет, сколько ни ищи! Правда, и обрыва нет никакого в помине: дорога прочерчена, размечен путь. Сегодня помощница адвоката по трудовым конфликтам, а послезавтра самостоятельная практика, собственное дело. Хорошие доходы, директорская пенсия. И вся эта мура собачья в двадцать шесть лет отроду... Да, вряд ли Тали стала бы кому-нибудь рассказывать, что она прыгает с шестом. От этой дикой мысли Гуревич даже зубы стиснул, чтобы не рассмеяться.

И дело ведь тут не только в Тали, думал Гуревич. Сегодня Тали, а завтра может быть какая-нибудь другая Тали – зубная врачиха, например, или даже армейская лейтенантша с автоматом. А в том дело, легко маялся и думал Гуревич, что вот в этой Люсе, в Люське с ее шестом дышит живая душа, которой совершенно неинтересны ни дурацкие трудовые конфликты, ни чужие зубы. С этой Люськой можно говорить легко, как ручей журчит – не выбирая слов, не думая над тем, как может быть понято сказанное: плохо или хорошо. Так ведь и должен говорить человек, и слушать так должен.

А про Ципи лучше вообще не вспоминать: почти четыре года выброшены псу под хвост. Хотя она, Ципи, ни в чем не виновата – просто такой характер, такая, что ли, повадка. Идея открыть буфет и торговать сибирскими пельменями по той лишь причине, что это занятие принесет на три копейки больше, чем инженерская служба Гуревича – в организованном обществе эта идея вполне здрава и уж, во всяком случае, имеет право на существование. Кому же торговать в Израиле сибирскими пельменями, как не русскому еврею? Но именно эти пельмени послужили последней каплей, переполнившей чашу смирения Гуревича: его намерение всецело вписаться в новую жизнь дало извилистую трещину, заботливая Ципи была отставлена, так и не поняв, что же послужило причиной разрыва.

Интересно, изменился ли телефон в квартире № 8? Если изменился, надо туда ехать. Завтра же, с утра. А там поглядим.

Гостиница на Невском была освещена, крепыш в зеленой ливрее с галунами отлепился от входа и, подойдя, распахнул дверцу машины.

– Забронировано! – подойдя к белораморной стойке регистрации,

сказал Гуревич портье со скрещенными золотыми ключами на лацкане форменного пиджака.

Номер оказался просторным и уютным, окно выходило на Невский. Машин на проспекте поубавилось, а снег по-прежнему продолжал размеренно валить. Гуревич решил было принять душ, но передумал и, надев свитер под куртку, вышел на улицу.

На углу светилась витрина магазина сувениров. Голубела гжель, прострели ряды матрешек. Если куплю матрешку, подумал Гуревич, значит, я иностранец. Но покупать матрешку было как-то неловко.

В магазине толпилось вдоль прилавков десятка два покупателей. За одним из прилавков, совершенно пустынным, продавщица средних лет с тихим, усталым лицом повторяла нараспев, без пауз:

– Кто забыл купить змею? Подходим, покупаем! Кто забыл купить змею? Подходим, покупаем! Кто...

Но никто не подходил.



Давид Маркиш родился 24 сентября 1939 г. Его отец – известный еврейский поэт Перец Давидович Маркиш (1895-1952), расстрелянный по делу Еврейского антифашистского комитета, мать – литератор Эстер Ефимовна Лазебникова-Маркиш, старший брат Симон Маркиш – профессор Женевского университета, сестра – скульптор-керамист Ольга Рапай.

Был сослан с матерью, сестрой и братом в Казахстан. В 1954 году вернулся в Москву из ссылки. Учился в Литературном институте им. Горького (1957-1962) и на Высших курсах сценаристов и режиссеров кино (1967-1968). В 1972 году репатрировался в Израиль. Участник Войны Судного дня (1973). Живет в Ор-Иегуде.

Автор более чем двух десятков книг, 8 из них вышли в переводе на иврит, 9 – на другие языки (в США, Англии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции и Бразилии).

Лауреат израильских и зарубежных литературных премий. Председатель Союза русскоязычных писателей Израиля (1982-1985). Президент Ассоциации творческой интеллигенции Израиля (с 2000 г.). Редактор газеты «24 часа» (1995-1998).

В настоящий выпуск «Роман-газеты» включены еще не публиковавшиеся рассказы.

